А. Вертинский

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА БЕЗ РОДИНЫ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В предлагаемых воспоминаниях известный советский эстрадный певец, актер, любимец публики А. Н. Вертинский (1889–1957) искренне, живо, увлекательно рассказывает о крутых жизненных поворотах, выпавших на долю артиста.

Для широкого круга читателей.

Текст печатается по изданию: журн. «Москва». 1962. № 3–6.

- АЛЕКСАНДР ВЕРТИНСКИЙ
  -
  - Судьба артиста. Лев Никулин
  - Одесса
  - Севастополь
  - Константинополь
  - Галиполи
  - Отъезд из Турции
  - В степи Молдаванской
  - По Бессарабии
  - Сигуранца
  - Новое знакомство
  - Мытарства
  - Польша
  - Снова в дорогу
  - Франция
  - Американцы развлекаются
  - Контрасты большого города
  - Трудные годы
  - Памятные встречи
  - Большой актер
  - Федор Шаляпин
  - Белокурый англичанин
  - Живые свидетели
  - Год крахов
  - Визит баронов
  - Там, за океаном
  - Концерт в «Таун-холл»
  - В Голливуде

АЛЕКСАНДР ВЕРТИНСКИЙ
ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА БЕЗ РОДИНЫ
Страницы минувшего

Судьба артиста. *Лев Никулин*

Мемуары артиста эстрады? Это может показаться странным. О чем же может рассказать эстрадный артист? У автора этих мемуаров А. Н. Вертинского была сложная биография, и он рассказал о многом — о своих разочарованиях, горестях, о скитаниях, о том дурном, бесчеловечном, что видел на чужбине.

А. Н. Вертинский был не просто артистом эстрады со своим особым репертуаром, а своеобразным, характерным явлением последних лет старого мира накануне его крушения.

Мемуары актеров не всегда удовлетворяют читателей: часто мы встречаем в них эгоцентризм, выпячивание своих заслуг, порой незаслуженные и чрезмерные комплименты своим современникам. Мемуары Вертинского не свободны от переоценки успехов, но ценность его воспоминаний в том, что все виденное им не прошло мимо него, в том, что он сумел сказать правду о жизни за рубежом, о переживаниях человека без родины.

Почти полвека назад в Москве, среди артистической молодежи, обратил на себя внимание молодой человек с похожей на псевдоним фамилией — Вертинский.

Странной и неожиданной была его судьба, как вообще странными были в то время судьбы молодежи, вышедшей из интеллигенции. В 1905 году начиналась их юность, еще не окрепшими юношами они приняли на себя злейшие удары реакции. Волна мистицизма, порнографии, отступничества обрушилась на этих молодых людей. Они быстро росли и видели свое назначение главным образом в искусстве и литературе — устремлялись в театральные школы и студии, забрасывали редакции журналов и газет стихотворениями, поэмами. И тут их постигало жестокое разочарование: эпидемия самоубийств, наркотики губили даже одаренных людей; так называемая богема была обречена на голодное или полуголодное существование, и только немногие находили место в жизни.

И вот среди этих молодых людей оказался тоненький, хрупкий блондин. Он явственно грассировал, был довольно застенчив, робко читал свои стихи. Но было в нем что-то привлекательное — добродушие, юмор, деликатность. Его упрекали в аристократичности, хотя было известно, что он вырос в семье железнодорожника из Киева.

В начале первой мировой войны Вертинский появился в военной форме санитара «Красного креста», но он не был «земгусаром» — так называли здоровенных лоботрясов, которые

укрывались от фронта в учреждениях Земского союза. Он работал на фронте, на передовой в качестве простого санитара и о том, что там видел, рассказывал с глубоким сочувствием к солдатам, к их страданиям и лишениям. И это было искреннее сочувствие человека, увидевшего воочию войну.

Кончалась первая мировая война. Ужасающим был контраст между фронтом и тылом. Петроград, Москва с ресторанами для новых богачей — спекулянтов, авантюристов, «героев тыла» — и очереди голодных людей у булочных, инвалиды на костылях…

В один день создавались громадные состояния, в один час делали карьеру царские министры. Предчувствие конца не тревожило господ, роскошно устроившихся в тылу, и все же их томило какое-то беспокойство, им хотелось забвения, томной грусти, после которой особенно приятной была бы обычная сытая жизнь.

И вот на сцене одного из модных тогда театров «миниатюр» выступил в гриме и костюме Пьеро артист — исполнитель так называемых интимных песенок — Александр Вертинский. Он сам сочинял стихи, мелодии. Экзотика его песенок пленила бездельников и бездельниц, которые в то же время рвались на «поэзо-концерты» поэта-эгофутуриста Игоря Северянина.

В ту пору Вертинский выступал на эстраде как-то робко, неуверенно, у него по-настоящему дрожали руки, это было неподдельное волнение — он словно сам удивлялся своему успеху у публики. А успех был, по-моему, понятен — артист каким-то чутьем угадал конец прежней жизни, вобрал в себя — певца — претенциозность, тоску, отчаянье, безнадежность класса обреченных. Он шел от декадентства, но сумел довести до полной ясности опустошенность, обреченность того, что декаденты называли «серебряным веком».

Удивительно было то, что артист, показывая на сцене нечто болезненное, был вполне здоров, разумен, обладал чувством юмора и вполне искренне презирал публику, которая после Октября искала прежней вольготной жизни то в гетманской «державе», то под крылышком генерала Деникина, то, наконец, за границей.

Именно там в 1927 году, в Париже, я увидел Вертинского, но уже не загримированного под Пьеро, а человека в обыкновенном костюме.

Вертинский сам говорил, что у него нет голоса (кстати, так же как у Ива Монтана), но он обладал искусством выразительного жеста. Это позволяло ему без грима, мгновенно создавать образ — то светского хлыща, то капризной и глупой дамы-щеголихи, то мечтателя, то бродяги-поэта. В его песенках была легкая ирония,

он забавно высмеивал пустых фатов и ветреных модниц, мечтал о голубых полярных льдах, о пальмах тропиков, о звезде среди миров мерцающих светил. Не все песенки были сочинены им самим, но в собственных его стихах встречались интересные поэтические образы. Но он, конечно, не пел, а «сказывал» стихи. Недаром Шаляпин, очень скупой на похвалы, на подаренном Вертинскому снимке сделал теплую надпись, назвал его «сказителем». Главной особенностью исполнения Вертинского было то, что его песенка была своеобразной театральной пьеской, которая длилась две-три минуты, и блестяще разыгрывалась талантливым актером.

Еще в 1927 году Вертинский говорил автору этих строк, что ему душно и тяжко в эмиграции, на чужбине, что ему отвратительна его публика — господа, которые все еще верят, что им вернут их имения, заводы, дома.

В Варшаве он просил полномочного представителя СССР Петра Лазаревича Войкова разрешить ему вернуться на родину. Вертинский любил свою родину, любил Киев, Украину, и даже в те годы, когда он был на Западе модным певцом и граммофонные пластинки с записью его песенок расходились тысячами, он скучал по родной стране, томился и создал тогда простую и искреннюю песенку «В степи молдаванской». С чужого берега, «сквозь слезы» он глядел на родную землю…

А. Н. Вертинский вернулся на родину в 1943 году, когда еще продолжались жестокие битвы с гитлеровскими захватчиками, и здесь ему пришлось держать трудный экзамен перед зрителями. То, что было в его песенках от эстетства, искупалось блеском исполнения; он мог выступать с таким репертуаром только потому, что был талантливым, единственным в своем жанре артистом. У Вертинского было подкупающее зрителей чувство собственного достоинства на эстраде. Он не заискивал перед публикой, не ждал аплодисментов, не посылал в публику улыбок. Он знал, что в зале немало людей, считающих его жанр безыдейным и пустым, но вот кончался концерт, и они уходили, удивленные его исполнительским мастерством.

В последние годы жизни артист покорил даже своих недоброжелателей, с успехом сыграв несколько ролей в кинофильмах. Он превосходно владел лицом, жестом, каждым движением, и это помогло ему на экране. Он владел искусством перевоплощения, мы видели его то кардиналом в «Заговоре обреченных», то князем в фильме «Анна на шее», то венецианским дожем, то польским вельможей. Он был превосходен в гриме французского генерала, но сыграть эту роль в фильме «Олеко Дундич» ему уже не пришлось.

Режиссеры, операторы, киноактеры с удивлением и восхищением наблюдали его работу на съемках. Точность его жеста была изумительной.

— Я поднимаю мой бокал… — произносил Вертинский и поднимал воображаемый бокал так, что зрители видели его, видели, что он держит бокал так, чтобы не расплескать налитое до краев вино.

Вертинский много ездил по стране. В номере гостиницы перед концертом — в знойном Ташкенте, на метельном Сахалине, в осеннем дождливом Ленинграде — он не сидел без дела: писал мемуары, киносценарии, письма друзьям, — писал об искусстве, о только что прочитанной книге или просто о впечатлениях от того края, куда его привела судьба странствующего артиста. Он вел скромный, трудовой образ жизни, не очень любил засиживаться до поздней ночи, не любил нетрезвых собеседников. Он знал, как пагубен для человека искусства богемный образ жизни, и предостерегал молодежь, показывая пример точности и добросовестности в работе.

Автор мемуаров был интересным, остроумным собеседником. Литераторы и актеры любили слушать его рассказы о скитаниях, необычайных встречах, — почти все это вошло в воспоминания. Артистический талант, мимика, жест делали его рассказы особенно забавными, увлекательными, остроумными.

Теперь, когда мы уже не видим афиши с именем Вертинского, можно подвести итог его сложной жизни. Первая ее глава окончилась в Октябре 1917 года. Другая глава неотъемлема от агонии русской эмиграции за рубежом и в то же время проникнута искренней грустью по утраченной родине. Последние четырнадцать лет Вертинский жил на родине и работал в полную силу, отдавая искусству всего себя.

Вместе с Вертинским умер созданный им на эстраде жанр, и сколько бы ни старались подражатели, никто не в состоянии его продолжить или повторить, потому что искусство артиста было своеобразно и он умел им владеть, как никто другой. Для этого надо было не только обладать талантом, но и прожить жизнь, полную треволнений, искушений, ошибок и поисков настоящего счастья.

Вертинский служил своим искусством зрителям, как умел, и те, кто его хоть раз видел и слышал, вряд ли его забудут. Впрочем, он сам напомнит о себе на страницах своих воспоминаний.

Перед читателем предстает не только артист своеобразного дарования, но и интересный мемуарист, человек, который рассказал о своем жизненном пути и исканиях живо,

увлекательно, с юмором, искренне. В этом ценность его мемуаров.

Лев Никулин

Одесса

…Шел 1918 год. Одессой правил тогда полунемецкий генерал Шиллинг. По улицам прекрасного приморского города расхаживали негры, зуавы; они скалили зубы и добродушно улыбались. Это были солдаты оккупационных французских войск, привезенные из далеких стран, — равнодушные, беззаботные, плохо понимающие, в чем дело. Воевать они не умели и не хотели. Им приказали ехать в Одессу — и они поехали. Как туристы. Им интересно было посмотреть Россию, о которой они так много слышали, и… больше ничего. Они ходили по магазинам, покупали всякий хлам, переговаривались на гортанном языке.

Испуганные обыватели, устрашенные маскарадным видом африканцев, сначала прятались, потом, убедившись, что они «совсем не страшные», успокоились.

В Одессе было сравнительно спокойно. Работали театры, синема, клубы. Музыка играла в городских садах.

Бои шли где-то далеко. В магазинах доставали из тайников запрятанные на всякий случай товары. В кафе, у Робина, у Фанкони, сидели благополучные спекулянты и продавали жмыхи, кокосовое масло, сахар…

На бульварах, в садовых кафе подавали камбалу, только что пойманную. В собраниях молодые офицеры, просрочившие свой отпуск, пили крюшон из белого вина с земляникой. Они были полны уверенности в будущем, чокались, поздравляли друг друга с грядущими победами, пили то за Москву, то за Орел, то без всякого повода. Потом теряли эквилибр и стреляли из наганов в люстру.

Из комендантского управления за ними приезжали нарядные и корректные офицеры и увозили куда-то.

В это время у меня шли гастроли в Доме артистов.

Внизу было фешенебельное кабаре с Изой Кремер и Плевицкой, а вверху — карточная комната. Я пел там ежевечерне. Однажды вечером, разгримировавшись после концерта, я лег спать. Часа в три ночи меня разбудил стук в дверь. Я встал, зажег свет и открыл ее. На пороге стояли два затянутых элегантных адъютанта с аксельбантами через плечо. Они приложили руки к козырьку.

— Простите за беспокойство, его превосходительство генерал Слащев просит вас пожаловать к нему в вагон откушать бокал вина.

— Господа! — взмолился я. — Три часа ночи! Я устал, хочу

отдохнуть!

Возражения были напрасны. Адъютанты были любезны, но непреклонны. На всякий случай они старательно поправляли кобуры с револьверами.

— Его превосходительство изъявил желание видеть вас, — настойчиво повторяли они.

Сопротивление было бесполезно. Я оделся и вышел. У ворот нас ждала штабная машина.

Через десять минут мы были на вокзале. В огромном пульмановском вагоне, ярко освещенном, сидело за столом десять-двенадцать человек. На столе — грязные тарелки, бутылки вина, цветы… Все скомкано, смято, залито вином, разбросано. Из-за стола быстро и шумно поднялась длинная, статная фигура Слащева. Огромная рука протянулась ко мне.

— Спасибо, что приехали. Я большой ваш поклонник. Вы поете о многом таком, что мучает нас всех. Кокаину хотите?..

— Нет, благодарю вас.

— Лида, налей Вертинскому! Ты же в него влюблена!

Справа от Слащева встал молодой офицер в черкеске.

— Познакомьтесь, — хрипло бросил генерал. — Юнкер Ничволодов.

Это и была Лида, его любовница, женщина, делившая с ним походы, участница всех сражений, дважды спасшая ему жизнь. Худая, стройная, с серыми сумасшедшими глазами, коротко остриженная, нервно курившая папиросу за папиросой.

Я поздоровался. Только теперь, оглядевшись вокруг, увидел, что посредине стола стояла большая круглая табакерка с кокаином и что в руках у сидящих были гусиные перышки-зубочистки. Время от времени гости набирали в них белый порошок и нюхали его. Привезшие меня адъютанты почтительно стояли в дверях.

Я внимательно взглянул на Слащева. Меня поразило его лицо. Длинная, белая, смертельно белая маска с ярко-вишневым припухшим ртом, серо-зеленые мутные глаза, зеленовато-черные гнилые зубы.

Он был напудрен. Пот стекал по его лбу мутными, молочными струйками.

Я выпил вина.

— Спойте мне, милый, эту… — Он задумался — «О мальчиках»… — «Я не знаю, зачем»… — Его лицо стало на миг живым и грустным. — Вы удивительно угадали, Вертинский. Это так верно, так беспощадно верно. Действительно, кому? Кому это было нужно? Правда, Лида?..

На меня взглянули серые русалочьи глаза.

— Мы все помешаны на этой песне, — тихо проговорила она. — Странно, что никто не сказал этого раньше.

Я попытался отговориться:

— У меня нет пианиста…

— Глупости. Николай, возьми гитару! Ты же знаешь наизусть его песни! И притуши свет. Но сначала понюхаем…

Генерал набрал в нос большую щепотку кокаина. Я запел.

Высокие свечи в бутылках озаряли лицо Слащева — страшную гипсовую маску с мутными, широко выпученными глазами. Его лицо дергалось. Он кусал губы и чуть-чуть раскачивался.

— Вам не страшно? — неожиданно спросил он.

— Чего?

— Да вот, что все эти молодые жизни… псу под хвост! Для какой-то сволочи, которая на чемоданах сидит!

Я молчал. Он устало повел плечами, потом налил стакан коньяку.

— Выпьем, милый Вертинский! Спасибо за песню!

Я молча выпил. Он встал. Встали и гости.

— Господа, — сказал он, глядя куда-то в окно. — Мы все знаем и чувствуем это, только не умеем сказать! А вот он умеет! — Слащев положил руку на мое плечо. — А ведь с вашей песней, милый, мои мальчики шли умирать! И еще неизвестно, нужно ли это было? Вы правы!

Гости молчали.

— Вы устали? — тихо спросил он.

— Да… немного…

Он сделал знак адъютантам и сказал:

— Проводите Александра Николаевича!

Адъютанты подали мне пальто.

— Не сердитесь, милый! — улыбаясь, сказал генерал. — У меня так редко бывают минуты отдыха! Вы отсюда куда едете?

— В Севастополь.

— Ну, увидимся! Прощайте! — и подал мне руку.

Я вышел. Светало. На путях надрывно и жалостно, точно оплакивая кого-то, пронзительно свистел паровоз.

Севастополь

Белые армии откатывались назад. Уже отдали Ростов, Новочеркасск, Таганрог. Шикарные штабные офицеры постепенно исчезали с горизонта. Оставались простые, серые, плохо одетые, усталые и растрепанные. Вместе с армией «отступал» и я со своими концертами. Последнее, что помню, — была Ялта. Пустая, продуваемая сквозным осенним ветром, брошенная временно населявшими ее спекулянтами. Концерты в Ялте я уже не давал. Некому было их слушать.

Несколько дней городом владел какой-то Орлов, не подчинявшийся приказам белого командования. Потом его куда-то убрали, и все затихло. Ждали прихода красных. Я уехал в Севастополь.

В гостинице Киста, единственной приличной в городе, собралась вся наша братия. Там жили актеры, кое-кто из писателей и много дам. Деньги уже ничего не стоили. За ведро воды нужно было платить сто тысяч рублей.

К концу 1918 года под неудержимым натиском Красной Армии белые докатились до Перекопа. Это был последний клочок русской земли, еще судорожно удерживаемый горстью усталых, измученных, упрямых людей, уже не веривших ни в своих вождей, ни в свою авантюру. Белая армия фактически перестала существовать. Оставались только ее разрозненные, кое-как собранные остатки. Генералы перессорились между собой, не поделив воображаемой власти, часть из них уже удрала за границу, кое-кто застрелился, кое-кто перешел к красным, кое-кто исчез в неизвестном направлении.

Армия разлагалась и таяла на глазах у всех. Дезертиры с фронта — оборванные, грязные и исхудавшие, переодевшиеся в случайное «штатское» платье, — бродили по Севастополю, заполняя собой улицы. Спали всюду — на бульварных скамейках, в вестибюлях гостиниц и прямо на тротуарах, благо ночи в Крыму теплые. А те, кто еще носил форму, — отпускные, командированные в тыл, — по целым дням торчали в комендатуре, где с утра до ночи бегали с бумагами под мышкой военные чиновники, охрипшие и ошалевшие. Сами ничего не знавшие, они никому и ничем помочь уже не могли. Но рвали взятки с живого и с мертвого.

Высокие, худые, как жерди, «великосветские» дамы и девицы, бывшие фрейлины двора, графини, княжны и баронессы с длинными породистыми «лошадиными» лицами, некрасивые и

надменные, продавали на черном рынке свои бриллиантовые шифры и фамильные драгоценности, обиженно шевеля дрожащими губами. Слезы не высыхали у них на глазах.

Днем они толкались в посольствах и контрразведках иностранных держав, в консульствах, различных учреждениях и комитетах, где можно было купить любой паспорт. Спекулянток можно было узнать сразу. Котиковый сак. Тюрбан на голове. Заплаканные глаза и мольба: «Визу на Варну!», «В Чехию, в Сербию, в Турцию — куда угодно! Только бежать, бежать!..» Они не мылись неделями, спали не раздеваясь. От них шел одуряющий запах «лоригана-коти», перемешанный с запахом едкого пота. Никто из них ничего не понимал. Словно их контузило, оглушило каким-то внезапным обвалом. Они ждали чего угодно, но только не революции. Они не могли осознать случившегося и только жалобно скулили, когда кто-нибудь пытался с ними заговорить.

«Безработные призраки прошлого» — таково было их шутливое прозвище.

По улицам ходил маленький князь Мурузи и, встречая знакомых, сладко и заливисто разговаривал, сильно картавя.

— Тут нет жизни, — восклицал он, всплескивая руками. — Надо ехать на фгонт! Это безобгазие!

Однако сам он ни на какой «фгонт» не ехал. Уговаривать нас князь начал еще в Одессе. И теперь докатился до Севастополя. Исчерпав все убеждения, он озабоченно спросил у меня:

— Скажите, догогой, а где тут хагашо когмят?

— Тут. У Киста, — отвечал я. — Тут же и хорошо, тут же и плохо! Потому что другого места все равно нет.

Единственный в городе театр «Ренессанс» ежевечерне был набит до отказа серыми шинелями — отпущенными или бежавшими с фронта офицерами. Мне предложили гастроли. Я отказался. Петь было нелепо, ненужно и бессмысленно.

Поэт Николай Агнивцев — худой, долговязый, с длинными немытыми волосами — шагал по городу с крымским двурогим посохом, усеянным серебряными монограммами — сувенирами друзей, и читал свои последние душераздирающие стихи о России:

Церкви — на стойла, иконы — на щепки!
Пробил последний, двенадцатый час!
Святый боже, святый крепкий,
Святый бессмертный, помилуй нас!

На его визитной карточке было напечатано: «Николай

Агнивцев (миллионер)».

Знакомый восточный князь Меламед купил шхуну и гостеприимно предлагал актерам ехать на ней в Турцию. Предлагал и мне, Собинову, Балановской, Плевицкой. Молодые актеры нанимались кочегарами на «Рион»— большой пароход, стоявший в порту. Спекулянты волновались и покупали все что угодно, лишь бы только отделаться от корниловских «колокольчиков» — тысячерублевок. Перекоп — узкая полоска земли, отделявшая нас всех от оставленной родины, — еще держался. Его защищал Слащев. На стенах города появились приказы генерала Слащева: «Тыловая сволочь! Распаковывайте ваши чемоданы! На этот раз я опять отстоял для вас Перекоп!»

Иногда в осенние ночи, когда море шумело и билось за окнами нашей гостиницы, Слащев приезжал с фронта со своей свитой. Испуганные лакеи спешно накрывали стол внизу в ресторане. Сверху стаскивали пианино, звали меня. Я одевался, стуча зубами. Спускался вниз, пил с генералом водку, разговаривал, потом пел по его просьбе. Но водка не шла. Голова болела, было грустно и пусто. Слащев дергался, как марионетка, хрипел, давил руками бокалы и, кривя страшный рот, говорил, сплевывая на пол:

— Пока у меня хватит семечек, Перекопа не сдам!

— Почему семечек? — спрашивал я.

— А я, видишь ли, — мы уже были на «ты», — иду в атаку с семечками в руке! Это развлекает и успокаивает… моих «мальчиков»!

Черноморский матрос Федор Баткин — краснобай, демагог и пустомеля, «выдвиженец» Керенского — кого-то в чем-то безуспешно убеждал. Но люди пожимали плечами и, не дослушав до конца, уходили…

— Визу, визу, визу! Куда угодно! Хоть на край света!

Остальное никого не интересовало. С Перекопа бежали. Слащев безумствовал. В Джанкое он приказал повесить на фонарях железнодорожных рабочих за отказ исполнить его приказы.

Однажды утром я получил телеграмму: «Приезжай ко мне, мне скучно без твоих песен. Слащев».

В этот день на рейде стоял пароход «Великий князь Александр Михайлович». Капитан его, грек, был моим знакомым. Пароход отходил в Константинополь. На нем уезжал обиженный Деникиным генерал Врангель со своей свитой. Ночью, встретив капитана в гостинице, я попросил его взять меня с собой. Он согласился.

Утром, погрузив несложный багаж и захватив с собой

единственного друга — актера Бориса Путяту и пианиста, я уехал из Севастополя.

Константинополь

Рано утром мы вошли в Босфор. Нашим глазам предстала панорама из тысячи и одной ночи. Залитый огнями Золотой Рог. Сахарно-белые дворцы султанов со ступенями, сходящими прямо в воду. Море огней. Тонкие иглы минаретов. Башня, с которой сбрасывали в Босфор неверных жен. Маленькие лодочки — канки. Красные фески. Люди в белом. Гортанный говор. И флаги, флаги, флаги! Без конца. Как на параде!

Военные корабли на рейде. Ярко начищенные медные части маленьких катеров сверкают, играют тысячами бликов, горят под лучами солнца.

Я сошел с парохода. В Константинополь. В эмиграцию. В двадцатилетнее добровольное изгнание. В долгую и горькую тоску.

Все пальмы, все восходы, все закаты мира, всю экзотику далеких стран, все, что я видел, все, чем восхищался, — я отдаю за один, самый пасмурный, самый дождливый и заплаканный день у себя на родине!

К этому я согласен прибавить еще и весь мой успех, все восторги толпы, все аплодисменты, все цветы, все деньги, которые я там зарабатывал… Все, все, все, ибо все это мне было не нужно!

Поселились мы с Борисом Путятой в самом фешенебельном отеле Константинополя «Пера Паласе». Разутюжили наши российские «костюмчики» — знаменитый актерский «гардеробчик», по которому антрепренеры оценивали молодых актеров, и вышли на улицу — на Гранд Рю-де-Пера, по которой взад и вперед прогуливалось немало наших, приехавших раньше нас.

«Ба! Откуда вы? Когда приехали? На чем?» Приподымались шляпы. Пожимались руки.

«Вы уже обедали? Нет? Ну зайдем куда-нибудь». «Хотите в «Уголок»? Тут русские держат!»

Заходили. Выпивали. Закусывали. Разговаривали по душам.

Борщ подавали отменный — мы от такого борща давно уже отвыкли. Все было первоклассного качества. А главное, подавали дамы. Молодые, нарядные, слегка кокетничавшие своим неумением подавать.

«Ну, откуда же мне знать это?.. — говорили их глаза. — Мы же не привыкли!»

— Горчички? Ах да!.. Забыла… Еще чего хотите?

Смелый, немного беспомощный взгляд и улыбки, улыбки без

конца…

Это заменяло недостаток сервиса. Обалдевшие, подвыпившие гости уходили, оставляя «на чай» даме больше, чем стоил весь обед. «Неудобно. Она такая милая!..»

Мы с другом тоже оставляли много. Но потом спохватились и стали ходить в дешевые турецкие кофейни.

Город шумел, орал и сверкал, как огромный базар. Тысячи голосов. Щелканье бичей «арабаджи», гордо восседавших на козлах своих фаэтонов, окрики полицейских, гудки машин, вой нищих, пение продавцов птиц и сластей, лай собак — все сливалось в общий гул. На улицах настоящий карнавал. Сотни офицеров и солдат в самых экзотических формах и нарядах. Шотландцы в юбочках с волынками в руках маршировали под какую-то детскую музыку. Негры в фресках и шароварах, итальянцы с петушиными перышками на шляпах, французы в голубых с золотом кепи, американцы в белых шапочках, англичане со стеками в руках, греки, чехи, сербы, румыны… Кого только здесь не было! И все это двигалось, маршировало, играло, пело. «Победители» демонстрировали свою мощь.

На углу, около кафе Токатлиана, старый турок жарил каштаны на маленькой жаровне и плакал. Один из «победителей» толкнул его жаровню — она мешала ему пройти, — и каштаны рассыпались по мостовой. По вечерам в узких улочках, прямо на тротуарах, пристраивался «кафеджи» — продавец кофе — ароматного турецкого кофе, в чашечках величиной с наперсток. За пять пиастров оно подавалось тут же на улице. Можно было сесть на маленькую табуретку, покурить, послушать заунывную восточную мелодию, исполняемую бродячим турецким музыкантом, и погрустить о родине.

В Галате дервиши — в длинных одеждах, босые — кружились в священном танце. Кружились до тех пор, пока в судорогах не падали на землю.

В большой праздник «байрам» мы ходили по Галату смотреть дешевую иллюминацию и бродили без цели по базарам, покупая всякую ерунду.

В темных, прохладных магазинах сидели, поджав под себя ноги, мудрые седобородые турки и терпеливо торговали чудесными коврами, угощая посетителей крошечной чашкой кофе с рахат-лукумом.

Турецкие женщины в национальной одежде с «чарчафами» — вуалями, закрывавшими пол-лица, — обжигали прохожих быстрыми и любопытными взглядами. Подойти к ним или завести знакомство было невозможно. Полиция зорко следила за ними. Мужчинам за попытки познакомиться ничего не было, а женщин

таскали в полицию, вызывали родных и родственников.

В больших грязных кафе ели плов из барашка, крошечные шашлыки, «долму», запивали «дузикой» — анисовой водкой, разбавленной холодной водой. Какие-то допотопные органы, вроде наших московских «машин», какие когда-то были в извозчичьих трактирах, ревели, гудели и цокали, внезапно останавливаясь, когда кончался завод.

По узеньким, кривым, немощеным улочкам и переулкам бегали страшные опаршивевшие собаки и рылись в мусоре, который выбрасывали на тротуар обыватели. Трогать собак было нельзя. По мусульманским законам собаки считаются священными животными. Англичане долго думали: что с ними делать? Наконец полковник Максвельд додумался: всех собак переловили, свезли на какой-то пустынный остров, где они перегрызли друг друга.

Яркий, красочный быт Турции еще существовал, но уже исчезал понемногу под напором «цивилизации», нахлынувшей вместе с оккупационной армией. Той Турции, о которой писал Клод Фаррер, в которую был когда-то влюблен Пьер Лоти, — уже не было. Где-то во дворце сидел султан, восточный повелитель, давным-давно купленный европейцами и оставленный ими только «для декорации». Без власти и без силы, без всякого значения. Правда, в его великолепном дворце «Ильдиз-Киоске» по пятницам, в «селямлик» еще бывали приемы. На них присутствовал весь дипломатический корпус. Но и туристы тоже. Приглашение на эти приемы можно было получить по знакомству за деньги.

…Сначала все были полны надежд. «Это ненадолго! — говорили спокойные, уверенные спекулянты, которым удалось кое-что вывезти и кое-что заработать. Многие заходили в своем оптимизме еще дальше.

— Англичане дают деньги, экипировку и вооружение, — говорили они.

— Но они уже давали, — робко возражал я.

— Будет сформирована новая армия. Она будет отправлена на английских кораблях и высажена.

— Но они уже высаживали! — деликатно напоминал я.

— Ничего. На сей раз это вполне серьезно!

Возражать было напрасно.

Какой-то купец из старых московских фамилий даже заключил пари на любую сумму, что «к Новому году будем в Москве».

Некоторых подозрительных лиц спешно вызывали в разведки и штабы, вели с ними какие-то переговоры. Много обещали,

много предлагали. Немолодые особы сомнительной репутации, работавшие в «Осваге» и в белых разведках, делая «хорошую мину при плохой игре», загадочно улыбались и иногда, по большой доверенности, интимно говорили:

— Ждите больших событий! Скоро поедем домой!

А в Галиполи, на острове, тихо умирала бессильная, разоруженная армия. И было какое-то трагическое сходство между нею, изолированной от всего остального мира, и теми собаками, которых англичане свезли на остров.

А на острове Принкино — в настоящем земном раю, среди роз, глициний и магнолий, в лучшем отеле мира — сидели, как в концлагере, русские эмигранты на английском пайке и играли в карты на коробки консервов, проигрывая друг другу свои полуголодные пайки. Они отвинчивали дверные медные ручки и продавали их за гроши на барахолке, чтобы курить и пить турецкую водку.

Старые, желтозубые петербургские дамы, в мужских макинтошах, с тюрбанами на голове, вынимали из сумок последние портсигары — «царские подарки» с бриллиантовыми орлами — и закладывали или продавали их одесскому ювелиру Пурицу в наивной надежде на лучшие времена. Они ходили все как одна одинаковые — прямые, как лестницы, с плоскими ступнями больших ног в мужской обуви, с крымскими двурогими палочками-посохами в руках — и делали «бедное, но гордое» лицо.

Молодые офицеры, сопровождавшие их, какие-то «Вовочки» и «Николя», бывшие корнеты лихих гусарских и драгунских полков, продавали сувениры дам и «красиво» прожигали деньги.

В фешенебельном игорном доме, открытом предприимчивым одесситом Сергеем Альтбрандтом, играл Жан Гулеско, знаменитый скрипач-румын, любимец петербургской кутящей публики. Было одно желание — забыться. Забыться во что бы то ни стало. Сперва играли в «баккара», потом ужинали, потом пили «шампитр». Собирались мужскими компаниями по нескольку человек и кутили, вспоминая старый Петербург.

— Жан, нашу Конногвардейскую!

Гулеско знал наизусть «Чарочки» всех полков. Раздувая цыганские страстные ноздри, он подходил к столу.

— Гулеско, наш Егерский! Ну-ка!.. Встать! Господа офицеры!

Вставали. Пили. Требовали «Боже, царя храни».

Гулеско играл, сверкая белками глаз, как-то особенно ловко подхватывая на лету и перекладывая в карман швыряемые ему десятки.

Клубы эти были запрещены. Начальник полиции колонель

Максвельд с чисто английской спортивной выдержкой, несмотря на тысячи ухищрений хозяев, в один прекрасный день перелезал где-то через забор и в самый разгар врывался в клуб. Энергично размахивая стеком направо и налево, он забирал всех в полицию. И держал до утра. Потом выгонял, записав фамилии.

Я помню, тогда мне бросилась в глаза одна странная вещь. Я заметил, что многих, очень многих людей революция поставила на их настоящее место… И даже не то. Вернее, в эти дни, как в проявителе, который употребляют фотографы, ясно обозначились те черты некоторых людей, которые раньше не замечались и не могли быть замечены, как ничего нельзя увидеть на негативе, пока его не опустишь в проявитель.

Кем и чем были эти люди до революции? Многие из них занимали посты, играли видную роль при дворе, работали то на одном, то на другом поприще, часто были всесильны, всемогущи, имена их были известны каждому, — и все это было не то, что они собой представляли на самом деле. Только здесь, в эмиграции, выброшенные из своей тихой заводи шквалом революции, они обрели свою истинную сущность, показали свое истинное лицо, нашли истинное призвание.

У меня, в кабаре «Черная роза», на вешалке стоял швейцаром бывший сенатор. Я никогда не видел швейцара, который был бы более удачен на своем месте, чем он. Он был услужлив, любезен, сообразителен и умел угодить публике, как никто. Он занимался всем, вплоть до сводничества. И зарабатывал великолепно. Очень многие, весьма щекотливые дела устраивались через него. И самое главное — он был вполне счастлив. Весь мир, такой огромный, такой сложный для него раньше, поделился теперь только на две половины, на два сорта людей: «дающих на чай» и «не дающих на чай». И он безошибочно разбирался в них.

— Разве это гость? — презрительно говорил бывший сенатор. — Я для него машину вызывал, за девочками ездил, домой его пьяного отвез, а он… пять лир — на чай! — И брезгливо пожимал плечами.

— Тяжело вам, Константин Иванович? — иногда спрашивал я.

— Что вы! Что вы! Отлично!..

Он махал на меня руками. Он был счастлив. Это было его настоящее призвание. А вся жизнь, прожитая им ранее, была ошибкой, сном, досадным воспоминанием.

На кухне шикарного ресторана-кабаре «Эрмитаж», в котором мне пришлось петь и быть еще директором, служил поваром бывший губернатор. Не знаю, каким он был администратором в России. Вероятно, плохим. Знавшие его говорили, что он был зол,

туп, придирчив и завистлив. Но поваром он был чудесным! Бывало, придя в ресторан в восемь часов утра, я заставал его за огромной чашкой чая с клубникой. Он протягивал горячий напиток и благодушно улыбался. Еда была его стихией. Целый день он пробовал соусы, вылизывая языком ложки, потом обедал — жирно, вкусно, — пил настойку. Вечером снова ел.

— Ну как, Николай Васильевич? — спрашивал я. — Трудновато?

— Да что вы, милый! Я отдыхаю! Только теперь я понял, что такое красота жизни!

И это была правда — он нашел себя.

А сколько великолепных лакеев, услужливых метрдотелей, лихих шоферов повыходило из людей, принадлежавших к самым богатым, самым высшим классам старого общества! Сколько сутенеров, жуликов, шулеров вышло из тех, кто носил самые громкие титулы, самые аристократические фамилии!

Значит, какая-то правда была в том, что

Эту накипь
Революция выплеснула
за борт.

Правда, вместе с этой накипью за борт попали и совсем иные люди. Но об этом потом.

Русские необыкновенно легко осваиваются повсюду. У них какое-то исключительное умение «обживать» чужие страны. Ибо куда бы мы ни приехали,—

К мысу ль Радости,
К Скалам Печали ли,
К Островам ли
Сиреневых птиц,
Все равно, где бы мы
ни причалили…—

как писала Н. А. Тэффи, — всюду мы приносим много своего, русского, только нам одним свойственного, так разукрашиваем своим бытом быт чужой, что часто кажется, будто не мы приехали к ним, а они — к нам.

— Ну, как вам нравится Константинополь? — спросил я одну знакомую даму.

— Ничего, довольно интересный город… Только турок слишком много, — ответила она.

Конечно, в больших городах, таких, как Париж, Лондон или Берлин, мы растворялись в многомиллионных массах местного населения, но зато в маленьких… С нашим приездом Константинополь стал очень быстро «русифицироваться». На одной только Рю-де-Пера замелькали десятки вывесок ресторанов, кабаре (дансингов тогда еще не было), магазинов, контор, учреждений, врачей, адвокатов, аптек, булочных…

Зернистая икра, филипповские пирожки, смирновская водка, украинский борщ дразнили аппетит, взывали к желудку. И деньги тратились легко — турецкие деньги, а наши «колокольчики» уже ничего не стоили. Кто успел обменять их раньше — тот был спасен. Остальные с горечью говорили:

— Вот чемодан «лимонов», а жрать нечего.

Положение женщин было лучше, чем мужчин. Они «привились», и их охотно брали на всякие должности. Мужчинам же найти работу было очень трудно. Они устраивались, главным образом, около ресторанов, чистили картошку или ножи, мыли посуду. Почтенные генералы и полковники охотно шли на любую работу чуть ли не за тарелку борща.

Все это было очень грустно. Какие-то организации вроде Земского союза, пытались что-то делать, устраивая бесплатные столовки и ночлежки, но за недостатком средств учреждения эти дышали на ладан.

И все-таки все как-то жили. Около тех, кто ел пироги, как всегда, питались крохами голодные. Голодных, конечно, было больше, чем сытых, но и сытых было немало. Предприимчивые купцы возили что-то в Батум, нагружали пароходы, возвращались и снова куда-то везли. Потом, когда возить уже было нельзя, «загоняли» пароходы, часто им не принадлежавшие, и долго еще жили на эти деньги.

Первое время какой-то микроб «беспечности» носился в воздухе. Думалось — все поправится, скоро вернемся на родину. Сделки, барыши, деловые знакомства — все это «вспрыскивалось» по-старинному — шампанским, отмечалось кутежами, швырянием денег.

Главный заработок был от иностранцев. Им очень нравилось все русское. Начиная от русских женщин, капризных и избалованных, которые требовали к себе большого внимания, и кончая русской музыкой и русской кухней. Грубоватые американцы, суховатые снобы-англичане, пылкие и ревнивые итальянцы, веселые и самоуверенные французы — все совершенно менялись под «благотворным» влиянием русских женщин. «Переделывали» они их изумительно — русские женщины любят «переделывать» мужчин! Для иностранцев

«условия» были довольно трудные. Но чего не перетерпишь ради любимой женщины!

Помню, был у меня один приятель француз. Человек довольно неглупый, молодой, богатый и веселый. Подружились мы с ним потому, что он обожал все русское.

— Гастон, — спросил я его однажды, — вот вы так любите все русское. Почему бы вам не жениться на русской?

Он серьезно посмотрел мне в глаза. Потом улыбнулся.

— Видите ли, мой дорогой друг, — раздумчиво начал он, — для того чтобы жениться на русской, надо сперва выкупить все ее ломбардные квитанции. А если у нее их нет, то — ее подруги. Раз! Потом — выписать всю семью из Советской России. Два! Потом купить ее мужу такси или дать отступного тысяч двадцать. Три! Потом заплатить за право учения ее сына в Белграде, потому что за него уже три года не плачено. Четыре! Потом положить на ее имя деньги в банк. Пять! Потом купить ей апартаменты. Шесть. Машину. Семь! Меха. Восемь. Драгоценности. Девять! и т. д. А шофером надо взять обязательно русского, потому что он бывший князь. И такой милый. И большевики у него отняли все-все, кроме чести, конечно. После этого она вам скажет: «Я вас пока еще не люблю. Но с годами я к вам привыкну!» И вот, — вдохновенно продолжал Гастон, — когда она к вам, наконец, почти уже привыкла, вы застаете ее… со своим шофером! Оказывается, что они давно уже любят друг друга, и, понятно, вы для нее нуль. Вы — иностранец, «чужой». И к тому же — хам, как они говорят. А он все-таки «бывший князь». И танцует лучше вас. И выше вас ростом. — Гастон расхохотался. — Ну, остальное вам ясно. Скандал. Развод. На суде она обязательно вам скажет: «Ты владел моим телом, но душой не владел!» Зато ваш шофер имел и то и другое. Согласитесь, что это комплике (сложно), мой друг!

Шарж был ядовитый. Но в общем довольно верный. И тем не менее женщины все-таки побеждали.

Они выходили замуж за кого угодно, начиная от самых «больших» особ первого класса и кончая самыми маленькими.

А турки вообще от них потеряли головы. Наши голубоглазые, светловолосые красавицы для них, привыкших к своим смуглым восточным повелительницам, показались ангелами, райскими гуриями, женщинами с другой планеты. Разводы сыпались, как из рога изобилия. Мужья получали «отступного» и уезжали искать счастья — кто в Варну, кто в Прагу, кто куда, а жены делались «магометанскими леди» и наряжались иногда в восточные одежды, которые носили не без шика.

Турецкие жены забили тревогу. Собрав много тысяч подписей, они подали петицию коменданту Константинополя

полковнику Максвельду, в которой наивно жаловались на измены мужей, подчеркивали опасность, угрожающую их семейному очагу, и требовали… выселения всех русских женщин из Турции! Не знаю, какой ответ дал им комендант, но факт остается фактом.

А пугаться было чего. Константинополь был буквально переполнен молодыми и хорошенькими женщинами. Военная молодежь из белых армий где-то в Крыму, в Ростове, Екатеринодаре переженилась «с перепугу» на молодых девчонках и привезла их с собой, надеясь на знаменитый русский «авось». Девчонки сразу освоились и как-то внезапно, точно по уговору, оказались все дочерьми генералов, полковников, губернаторов и миллионеров. Иностранцам они рассказывали о себе чудеса. Те слушали их, разинув рты, и лезли из кожи. Мужья сердились, но терпели, «Главой в доме» была жена. Сменив военную форму на штатское, мужчины чувствовали себя как-то неуверенно. Имея много свободного времени, они ревновали своих жен, тяготились создавшимся положением или, наоборот, спокойно мирились с ним и от скуки целыми днями торчали в бильярдных.

Я пел в «Черной розе». Конечно, не свои вещи, которых иностранцы не понимали из-за незнания русского языка, а преимущественно цыганские. Веселые, с припевами, в такт которым они пристукивали, прищелкивали и раскачивались. Это им нравилось. Почти ежевечерне по телефону заказывался стол верховному комиссару всех оккупационных войск адмиралу Бристоль. Он приезжал с женой и свитой, пил шампанское и очень любил незатейливую «Гусарскую песенку» («Оружьем на солнце сверкая…»), которую я ему пел, искусно приправляя эту песенку всякими имитациями барабанов и военных труб.

Тратил он очень много, и мой патрон был в восторге. А за адмиралом тянулась и остальная денежная публика. Постепенно меня стали приглашать на все официальные банкеты и приемы в посольстве — я танцевал с пожилой адмиральшей и разговаривал по-французски, — английского я не знал.

Однажды адмирал пригласил меня даже обедать на свой флагманский корабль. В это время Кемаль-паша, будущий создатель Новой Турции, сидел в Анатолии, ощетинившись всеми верными ему штыками, и не обращал внимания на угрозы союзников. Американские и английские корабли блокировали Анатолийское побережье. Где-то шли какие-то переговоры, пока же остальная Турция во главе с султаном была ими изолирована.

Однажды я был приглашен в «Ильдиз-Киоск» к султану на «селямлик». Я приехал со своим оркестром и в ожидании выхода султана стоял в приемной зале дворца и разговаривал со знакомыми дипломатами. Греческий атташе Псилари объяснял

мне, как надо заводить роман с турчанками, чтобы не повредить их репутации. Я слушал и смотрел в окно: до приема султан должен был по ритуалу посетить мечеть.

Мечеть находилась тут же, в ограде дворца, и скоро показалось его ландо, запряженное шестеркой белых лошадей. Султан в блестящем, расшитом золотом мундире, с лентой и орденами, сидел один, а по бокам от его коляски в полных парадных одеяниях и также при всех орденах и регалиях бежали его министры, положив руку на крыло экипажа. Полюбовавшись парадом, я отошел от окна. Вечером, после приема, вдоволь напевшись, я получил от султана в подарок ящик его личных сигарет из чудесного турецкого табака с длинными картонными мундштуками, украшенными султанской эмблемой.

В числе наполнивших город соотечественников, к моему изумлению, оказался и Слащев. Он поселился где-то в Галате с маленькой кучкой людей, оставшихся с ним до конца. В числе их была и «знаменитая» Лида. Мы встретились. Вернее, я сам разыскал его. Слащев жил в маленьком грязноватом домике, где-то у черта на куличках. Он еще больше побелел и осунулся. Лицо у него было усталое. Темперамент куда-то исчез. Кокаин стоил дорого, и, лишенный его, он утих и постарел сразу на десять лет.

Разговор вертелся вокруг одной темы: о Врангеле.

У Слащева была смертельная, неизлечимая ненависть к этому человеку. Он говорил долго и яростно о каких-то приказах — своих и его, ссылался на окружающих, грозил, издевался над германским происхождением Врангеля, кричал, что Россию продали немцам, и упорно сводил счеты с другими белыми генералами. Трудно было понять что-нибудь в этом потоке бешенства. Всем своим новым, «штатским» видом Слащев напоминал мне больную птицу, попавшую в клетку. Адъютанты молчали, потихоньку перестригаясь из «львов» в «пуделей» и подумывая о новом хозяине. Как ни странно, но о «красных» Слащев ничего не говорил. По-видимому, он уже «что-то понял».

Встретив в городе турка, которого я знал по России, — некоего Нуридин-бея (он был дипломатом в Петрограде и говорил по-русски), я рассказал ему о Слащеве и о том, что тот нуждается. Нуридин-бей предложил посылать ему хлеб на всю братию (у него была своя булочная) и обеды из нашего ресторана «Черная роза», открытого этим турком.

Я аккуратно посылал Слащеву еду. Так продолжалось с полгода. Потом я потерял его из виду.

Еще через год я у шел из «Черной розы» и пел уже в загородном саду «Стэлла». Хозяином его был знаменитый русский негр Федор Федорович Томас, бывший хозяин московского

варьете «Максим».

Однажды вечером в «Стэллу» приехал Слащев. Он был с компанией неизвестных мне лиц, много пил и молчал. После пения я подошел к нему. Он обрадованно, но грустно улыбнулся. Его лицо изменилось до неузнаваемости. Это уже не был «белый генерал», «герой Перекопа», как его величали, «трагический Пьеро» разбитой армии, — это был грустный, усталый и старый человек.

Слащев предложил мне вина.

— А ты ведь действительно «что-то знаешь!» — вдруг раздумчиво сказал он. — Но и ты ошибся! Как я! Мы все ошиблись! Ужасно, непоправимо, непростительно ошиблись! Мы проглядели самое главное! Мы не имеем права жить!

Он взял в руку деревянную палочку-размешалку, которую подают к шампанскому, и сломал ее. Его лицо скривилось в мучительной гримасе.

Мы молчали. Говорить при посторонних было неудобно.

— Хочешь послушать моего совета? — спросил он. — Возвращайся в Россию!

Я молча кивнул головой. Увы, я это понял, едва ступив на берег Турции. Но поправить мою мальчишескую ошибку я уже не мог.

Через несколько дней я узнал, что Слащев уехал в Советскую Россию, а еще через два года из газет мне стало известно, что его убил на улице рабочий, брат одного из тех, которых он повесил в Джанкое.

Так окончилась жизнь этого странного и страшного человека.

До сих пор не понимаю: откуда у меня набралось столько смелости, чтобы, не зная толком ни одного иностранного языка, в двадцать пять лет, будучи капризным, избалованным русским актером, неврастеником, совершенно неприспособленным к жизни, без всякого жизненного опыта, без денег и даже без веры в себя, — так необдуманно покинуть родину. Сесть на пароход и уехать в чужую страну. Что меня толкнуло на это?

Задавая себе этот вопрос спустя десятки лет, я все еще не мог найти в своей душе искреннего и честного ответа.

Я ненавидел советскую власть? О нет! Советская власть мне ничего дурного не сделала.

Я был приверженцем какого-нибудь иного строя? Тоже нет. Убеждений у меня никаких в то время не было. Но тогда что же случилось? Что заставило меня уехать? Почему я оторвался от той земли, за которую готов был теперь с радостью отдать свою жизнь, если бы это было нужно?

Очевидно, это была просто глупость! Юношеская беспечность. Может быть, страсть к приключениям, путешествиям, к новому, еще неизведанному? Не знаю.

Так или иначе — я оказался в Турции…

Начиная с Константинополя и кончая Шанхаем, я прожил длинную и не очень веселую жизнь эмигранта, человека без родины.

Я много видел, многому научился. Может быть, у себя дома, поставленный в благоприятные условия существования — искусство у нас очень поощряется и очень бережно культивируется, — я бы не дошел до такой остроты чувств, до такого понимания чужого горя, до такой «человечности», какую мне дали годы скитаний.

Говорят, душа художника должна пройти по всем мукам. Моя душа прошла по многим из них. Сколько унижений, сколько обид, сколько ударов по самолюбию, сколько грубости, хамства натерпелся я за эти годы!

Сколько проглоченных обид! Сколько пропущенных безмолвно оскорблений родины!

Это была расплата. Расплата за то, что когда-то я посмел забыть о ней. За то, что в тяжелые для родины дни, в годы борьбы и испытаний я ушел от нее. Оторвался от ее берегов.

Галиполи

Галиполи в переводе с греческого — «город красоты». Трудно было себе представить, почему турки назвали так пустынное, выжженное солнцем место. Наши солдаты называли его «Голополе», и это название больше подходило. Солнце. Синие горы вокруг. Жара. Раскаленный камень. Ящерицы. Очень мало зелени. Так выглядел Галиполи, когда из черных закопченных транспортов в него высадилась тридцатитысячная армия усталых, разочарованных, отвоевавших людей, людей без родины, без будущего и даже без настоящего.

Когда-то здесь стояли шатры крестоносцев. Белые перья рыцарских шлемов развевались по ветру. Здесь был рынок, где продавали рабынь. Когда-то разъяренный Ксеркс приказал здесь высечь цепями Геллеспонт. Потом все смывающий ветер истории начисто выдул отсюда все признаки прошлого. Несколько землетрясений… И только забытые турецкие могилы — серые камни в белых тюрбанах — скучно молчат на серо-желтом фоне. А вокруг море и море…

Для русского лагеря отвели место на земле какого-то турецкого полковника. Называлось оно «Долиной роз и смерти», потому что хотя над речкой, в расселинах гор, рос мелкий шиповник, но москиты, скорпионы и змеи подстерегали здесь человека на каждом шагу.

Вот на этом-то голом месте в очень короткое время вырос белый полотняный город. Почти год прожила там армия, зализывая раны. Отмылась, отчистилась от вшей, от дизентерии. Кутепов завел строгую дисциплину, видя в ней единственное спасение. За малейший проступок сажал на гауптвахту. Он хотел спасти армию во что бы то ни стало, спасти самое сердце «белой идеи», но идеи уже не было. Идея угасла еще там, в России. Кому нужны были, кому были дороги интересы белой армии, кроме нее самой?! Никто даже не вспоминал о ней. Спекулянты нажились, интеллигенция стремилась к центрам — в Париж, Берлин, Лондон. Молодежь просилась в Америку, в Бразилию, Аргентину — куда угодно, лишь бы вырваться отсюда и начать новую жизнь.

«Союзники» помогали слабо. Кроме консервов да кое-какой одежды, от них ждать было нечего. Жили впроголодь. Вначале солдаты даже просили милостыню. Французы запретили им ловить рыбу. От селитры, которая была в консервах, у многих на теле начали появляться какие-то язвы. Подкармливал немножко женщин и детей Земсоюз. Днем проходили ученья, маршировали, занимались, как полагается. В юнкерском училище юнкерам

читали лекции. Россия жива, Россия будет. И надо ей служить. Все равно что здесь или в Африке. Сторожили знамена. Тосковали по родине. Мечтали о походе на Константинополь… Захватить суда и поплыть в Россию. Восемь офицеров застрелились от тоски. Два генерала сидели в приморском кафе — пили. Увидели на рейде маленький истребитель, схватили наганы и, как обезумевшие, бросились в воду. Доплыть, захватить истребитель и — в Россию!.. В воде отрезвились, подобрал их русский катер.

Когда по всему миру русские эмигранты впали в истерику, когда их «политики» стали делать ставку на «эволюцию большевизма», на «крестьянские восстания», «голод», когда «Общее дело» заявляло, что через две недели начнется поголовное бегство комиссаров из Кремля, сухопарые, очкастые галиполийские лекторы, загибая тощие пальцы, говорили: «Не верьте! Все это истерика или выдумка. Не сегодня и не завтра придет спасение. Не верьте политиканам. Они ослепли в политической мгле. Это самообман, а правда — проста. Мы одни. Мы полузабыты, и мы должны крепить свой дух».

Все эти белые мальчики верили в свой подвиг. Они думали, что приносят свои жизни на алтарь родины — для ее счастья, ее спасения. Белые воевали за старое, за прошлое. Красные воевали за новое, за будущее. Русский народ пошел за теми, кто дал ему настоящее счастье на земле, перестроил его психологию, весь его внутренний мир, всю его сущность.

…На рейде время от времени появлялся старый закоптелый пароход «Рашид-паша», который ходил в Одессу и мог увезти на родину. И долго смотрели на него люди в белых рубашках, и тысячи мыслей о том, как бежать, как вырваться, как вернуться, рождались в их головах. И бессильно умирали. Возврата не было.

Армию продвигали на Балканы.

Отъезд из Турции

В зеленой гуще деревьев и пальм в Бебеке, где стояли белые турецкие виллы, увитые снизу доверху огромными чайными желтыми розами, пели соловьи. А в «Пти-Шане» пели шансонетки. Балетмейстер Виктор Зимин ставил «Шахерезаду». В «Стэлле», в саду у нашего московского негра Томаса, играли русские музыканты, танцевали русские балерины, русские дамы пленяли сердца американцев, англичан и французов. Все шло как по маслу. Но деньги кончались.

Те, кто «устроился», так или иначе еще существовали, остальные, истратив все и продав все «фамильные драгоценности», невольно вынуждены были как-то устраивать свою дальнейшую судьбу. Опять началась беготня за визами. Кое-куда их еще давали. «Интеллигенцию» принимали чехи. Туда двинулись профессора, писатели, журналисты. Желающих «сесть на землю» звали в Аргентину. Туда стремилось казачество. Люди со средствами уезжали во Францию, в Париж. Эмиграция рассасывалась.

Турецкое правительство, слегка опомнившись от своих собственных переживаний, подбодренное независимым положением неукротимого Кемаль-паши, потихоньку приходило в себя. На эмиграции это отразилось довольно чувствительно. Появился ряд декретов, сильно ограничивших свободу и даже пребывание русских в Турции.

Нужно было куда-то «бежать» дальше. Я стал думать о своей дальнейшей судьбе. Тут передо мной возникли два основных вопроса: куда ехать и с какими документами? Был еще и третий вопрос: с какими средствами?

Того, что я зарабатывал пением, хватало на жизнь, но и только. А пароходные билеты до любой страны стоили сотни лир. Но, очевидно, судьба думала обо мне. Вскоре возле меня стал вертеться маленький юркий «театральный человечек» — русский грек, некий Кирьяков. У него родилась «идея» повезти меня в Румынию, главным образом в Бессарабию, где было коренное русское население и где можно было на мне «заработать». Выбирать мне не приходилось. Я искренне обрадовался этому предложению и стал готовиться к отъезду. Вскоре у меня появился греческий паспорт, купленный Кирьяковым за сто лир на имя греческого подданного, рожденного в городе Киеве, Александра Вертидиса (так переделал мою фамилию предприимчивый Кирьяков для большего сходства с Грецией). О родителях было сказано, что отец из Афин, а мать — с Украины. В

общем получался недурной «коктейль».

С благодарностью вспоминал я потом об этом человеке. Что бы я делал, если б не он? И не только в тот момент, но и в дальнейшем. Как-никак, но с этим «паспортом» я объехал чуть не полсвета, минуя все эмигрантские затруднения.

На прощанье симпатичный чиновник, продавший мне этот паспорт, сказал:

— Можете ездить по всему свету, только старайтесь никогда не попадать в Грецию, а то у вас его моментально отберут!

Этот завет я помнил всю жизнь. Вероятно, поэтому я так и не видел Греции!

Постепенно закрывались рестораны, прижатые новыми правилами. Прикрывались игорные дома и лото-клубы, сворачивались магазины, лопались дутые предприятия, отбирались пароходы.

Правительство султана висело на волоске, а Кемаль рычал, как разъяренный тигр на мирно отдыхавших «победителей» и не давал им покоя. Приходилось «сматывать удочки».

Я не дождался переворота. Взял билет в Констанцу и, закурив последнюю ароматную сигарету, подаренную мне его величеством, отплыл в неизвестность, навсегда попрощавшись с солнечной страной — родиной Шехерезады, Босфором, Золотым Рогом…

Однажды, рассказали мне, в Кишиневе появилась русская женщина, отличавшаяся необыкновенной красотой. Она тайком перешла границу по льду Днестра у Тирасполя, а оттуда пробралась в Кишинев, где ее приютил богатый одесский грек Пападаки, владелец кино «Орфеум». Эта женщина должна была ежедневно являться в комендатуру, ее подвергали допросам, стараясь выяснить, не является ли она «шпионкой оттуда». Добиться от нее ничего не могли, потому что это была обыкновенная буржуазная дама, убежавшая из Советской России, как убегали сотни спекулянтов, буржуев, растратчиков. Именно они составляли «кладезь премудрости» и информации о Советской России для русской эмиграции и иностранных государств. Сколько откровений было сделано именитыми белыми журналистами по рассказам бежавших! По их сенсациям выходило, что Россия ждет и никак не может дождаться… возвращения белой эмиграции на помочах каких-либо интервентов. В этом, в частности, кроется просчет некоторых держав, строивших свои отношения к СССР на «точной» информации. СССР — это сфинкс, Красная Армия — это сфинкс, — повторяли одна за другой иностранные газеты. На

деле же оказалось, что никакого сфинкса нет. Наш славный народ за годы советской власти стал монолитным, а наша Родина — могучей мировой державой.

Вернемся, однако, к этой даме. Она имела несчастье обратить на себя внимание всесильного «диктатора» Бессарабии — генерала Поповича. Изматывая ее допросами и запугивая, генерал в конце концов предложил ей сойтись с ним, обещая за это свободу. Дама отказалась. Генерал настаивал. Видя, что сломить ее упорство невозможно, разъяренный генерал приказал погнать женщину по льду Днестра обратно в Советскую Россию. В пять часов утра ее вывели на берег реки. Когда она отошла на некоторое расстояние, ей послали вдогонку несколько пуль.

Узнав об этом, Пападаки бросился в Бухарест, взял самого лучшего адвоката; не жалея денег, кидался по всем инстанциям, требуя расследования. Подавал жалобы министрам и даже дошел до короля. Но все было напрасно. Генерал был недосягаем и неуязвим. Тогда Пападаки поднял на ноги прессу. За деньги, конечно. Оппозиционные газеты затеяли настоящую травлю генерала. Коллегия адвокатов заявила формальный протест в суде. Скандал разросся до небывалых размеров… И тем не менее дело замяли, грека куда-то запрятали и потом «ликвидировали».

Вот к этому самому генералу Поповичу я и попал со своими концертами. Приехал я из Констанцы через Бухарест прямо в Бессарабию, где рассчитывал исключительно на русское население. Сначала все было хорошо. Концерты мои давали отличные сборы, публика меня баловала до предельной возможности, друзья окружали заботой, вниманием и лаской. Но потом вдруг все неожиданно и странно изменилось. Как-то после концерта я ужинал со своими друзьями в саду местного Собрания. Мы сидели в ресторане, а дальше, в глубине сада, был кафешантан со столиками. Во время ужина мне стало жарко, я решил пройтись по саду. Не сказав никому ни слова, я вышел из-за стола и направился к ярко освещенному кафешантану. Остановившись у барьера, стал смотреть, как проделывали какой-то трудный номер немецкие акробаты.

Неожиданно из темноты сада ко мне подошла уже немолодая дама.

— Вы м-сье Вертинский? — спросила она.

Я молча поклонился.

— У меня к вам просьба… Я певица, — она назвала какое-то имя, вроде Мира или Мара. — Я пою здесь… В субботу у меня бенефис. Я бы хотела, чтобы вы выступили у меня в этот вечер.

Я был удивлен.

— Вам, вероятно, известно, мадам, что я связан договором с

менаджером. Кроме того, у меня в субботу собственный концерт, который я не могу отменить, и помимо всего я никогда не выступаю в кафешантанах.

— Значит, вы мне отказываете? — улыбаясь, спросила она.

— Я не вижу возможности исполнить вашу просьбу, мадам.

— Вы пожалеете об этом! — глядя мне прямо в глаза, вызывающе сказала она.

Я пожал плечами и отошел. Вернувшись к своему столу, я забыл об этом эпизоде и не рассказал о нем никому из друзей. Вот это-то и было моей роковой ошибкой.

В степи Молдаванской

На другое утро я уехал из Кишинева в турне по Бессарабии. Трудно передать чувства, которые охватили меня при виде нашей русской земли, такой знакомой, такой близкой и дорогой сердцу и в то же время такой «чужой». Русские вывески: «Аптека», «Трактир», «Кондитерская», «Ренсковый погреб», «Бакалейная торговля» — вызывали во мне чувство нежности. Словно я повстречался с милыми, давно забытыми людьми моей юности. Словно я через много лет вернулся в родной город и меня встречают уже иные, незнакомые лица. Но все же это «свои» — люди моего города. Носильщики на вокзалах, извозчики, продавцы в магазинах, нищие — все говорили по-русски. Человеку, оторвавшемуся от родной почвы и жившему долго у чужих, это было ново, радостно и до слез приятно. В запряженном парой худых кляч провинциальном фаэтоне, на козлах которого гордо восседал извозчик Янкель — тоже худой и длинный, как жердь, с рыжевато-седой библейской бородой, — мы покатили в ясный солнечный день по нашей — «почти нашей» — русской земле в Молдаванские степи. Те же милые сердцу белые хаты, те же колодцы с жестяными распятьями, как у нас на Украине, те же подсолнухи, кивающие из-за тына, тот же воздух, то же солнце, те же птицы.

Что за ветер в степи
Молдаванской…
Как поет под ногами
земля…—

танцевали у меня в голове первые строфы будущей песни.

Коляска подпрыгивала, Янкель что-то напевал о строгой учительнице, которая обманывала своего «ребе», и хотя пел он по-еврейски, но выходило как-то по-русски. Так, вероятно, пел еврей-ямщик и где-нибудь на Украине. Встречные возы с сеном, запряженные такими же русскими волами, давали нам дорогу, сворачивая со шляха. Крестьяне кланялись, снимая шапки.

Все эти Бендеры, Сороки, Оргеевы — типичные русские «местечки» с белой церквушкой, бакалейными лавочками, где пахнет хомутами и дегтем, где продают гвозди и мыло, кнутовища и квас, колбасу и веревки.

В синем небе высоко кружил ястреб. Ласточки сидели на телеграфной проволоке, и кругом, куда ни кинешь взгляд, —

степь и степь. Так похоже на Родину! Иногда под вечер в степи мы встречали цыганский табор. Настоящий табор, о котором всю жизнь слышишь в романсах, кстати сказать, написанных людьми, никогда его не видевшими. Горели костры. Кибитки стояли полукругом с поднятыми оглоблями. Мы останавливались, шли к цыганам, садились к костру, ужинали, пили вино, слушали песни. Под гитарные переборы грустили о Родине. А степь была уже серебряной от лунного света, звенели цикады, кричали перепела, и было много общего между жизнью этих людей без Родины и моей. Так родилась моя песня «В степи Молдаванской».

В Бендерах мы остановились в маленькой гостинице. Нам принесли самовар. Хозяин пришел поговорить с нами. У окон собралось посмотреть на меня все местечко. Это было так по-русски.

До концерта оставалось полтора дня. Я располагал временем и решил пойти на берег Днестра, посмотреть на родную землю.

Было часов восемь вечера. На той стороне реки нежно синели маковки церквей. Тихий звон едва уловимо долетел до меня. По берегу ходил часовой. Стада мирно паслись у самой реки.

Все это было невероятно, безжалостно, обидно близко, совсем рядом. Казалось, всего несколько десятков саженей отделяли меня от Родины.

«Броситься в воду! Доплыть! Никого нет, — мелькало в голове. — А там? Там что?.. Часовой спокойно выстрелит в упор, и все… Кому мы нужны? Беглецы! Трусы! «Сбежавшие ночью». Кто нас встретит там? И зачем мы им? Остатки прошлого! Разбежавшиеся слуги барского дома. Нас засмеет любой деревенский мальчишка. А что мы умеем? Ничего. Что мы знаем? Чем мы можем быть им полезны? Полы мыть и то не умеем».

Я сел на камень и заплакал. Кирьяков увел меня домой — в гостиницу.

— Не расстраивайтесь. Завтра концерт, — сказал он.

Придя в комнату, я закончил песню:

А когда засыпают
березы
И поляны отходят
ко сну,
Ох, как сладко,
как больно сквозь слезы
Хоть взглянуть на
родную страну.

По Бессарабии

Много переживаний было у меня в Бессарабии. Всюду милые люди, не беженцы — суматошные, растерянные, двигающиеся по закону инерции, еще не осознавшие своей огромной потери, ищущие, сами не знающие, чего им надо, — а коренные, исконные русские жители этих мест, люди нашей, русской земли, никуда с нее не убегавшие. Волею судеб они попали под чужую власть — под иго «невоевавших победителей», жадно набросившихся на свалившийся им с неба богатый край. Эти люди не забыли своей Родины, они думали о ней, терпеливо ждали своего освобождения и верили в него, считая, что власть «завоевателей» временна, случайна и скоропреходяща.

Они посещали мои концерты, приходили ко мне. В моем лице они видели не только артиста, но и человека, который привез им частицу родного искусства. Они старались объяснять не понимавшим меня румынам, кто я и о чем пою. Искренне гордились мною. А во всех городах и местечках по приказу из Кишинева уже следили за мной. На концертах сидели сыщики, начальники сигуранц, чиновники. Они внимательно наблюдали за мной и публикой, стараясь вникнуть в тайный смысл моих слов. Наблюдали, как реагирует взволнованная аудитория, и нервничали, видя слишком горячий прием. Как-то в Аккермане мой концерт посетил комендант города. Он сидел в первом ряду в полной парадной форме и не понимал, за что мне горячо аплодируют. В конце концов он не выдержал. Вскочив со своего места, он повернулся лицом к публике и, стуча по полу палашом, в бешенстве закричал по-румынски:

— Что он поет? Я требую, чтобы мне объяснили, что он поет? Отчего здесь все с ума сходят? Голоса у него нет. В чем дело?

К нему подошли какие-то люди, пытались объяснить. Полковник был в ярости.

— Это неправда! — кричал он. — Он — большевик! Он вам делает митинг! Он поет про Россию. Артистам не делают таких демонстративных оваций.

Вот тут он был прав. Овации были действительно демонстративными. И не потому, что я уж так хорошо пел, а потому, что я был русский — свой, запрещенный.

Шаг за шагом, город за городом, не минуя даже маленьких местечек, я катил по Бессарабии, напоминая людям об их языке, об искусстве их великой Родины, о том, что она есть и будет. А вместе со мной, как снежная лавина, катился все увеличивающийся ком доносов, рапортов со всех мест, где

ступала моя нога, где звучал мой голос.

Публика была возбуждена, ко мне тянулись, благодарили чуть не со слезами на глазах за то, что приехал, за то, что привез русское слово, что утешил, успокоил.

Воистину это окрылило меня. У меня открылись глаза. Это было и радостью и наградой.

Однажды в степи, около Сорок, мы встретили мальчишку-пастуха. В руках у него на веревке, головой вниз, висел полузамученный большеглазый степной орленок. Мы остановили лошадей.

— Продай птицу, — предложил я.

Мальчик согласился. Он рассказал, что птица прилетела «с той стороны». Я дал ему денег, взял орленка и, доехав до берега Днестра, вышел из экипажа.

— Что вы будете с ней делать? — улыбаясь, спросил Кирьяков.

Я развязал орленку крылья и лапы, положил его в густую траву у самого берега, присел возле него на корточки.

— Когда ты отдохнешь и поправишься, — тихо сказал я, — и сможешь летать, возвращайся на Родину и поцелуй нашу землю. Скажи, что это от меня…

Орленок взглянул мне в глаза. На секунду его взор стал строгим и пристальным. Он точно читал правду. И вдруг, к моему восторгу, взмахнул крыльями и взвился в небо. Через несколько секунд он был на середине Днестра. Потом, становясь все меньше и меньше, черной точкой исчез на том берегу, где синели леса моей Родины.

Мы закончили наше турне и через две недели вернулись в Кишинев, где намеревались дать еще несколько концертов, а затем ехать в Польшу.

В Кишинев я приехал к вечеру. Наскоро поужинав в отеле, лег и уснул как убитый. В пять утра в мой номер постучали.

— Пожалуйте в управление!

Кирьяков открыл. На пороге стояли жандармы. Сообразив, что дело дрянь, он бросился в город предупредить моих друзей. Самыми «влиятельными» из них были директор банка Черкес и директор Бессарабских железных дорог Николай Николаевич Кодрян — русский инженер, родом из Бессарабии, умница и большой дипломат, умевший ладить с румынами, — единственный «русский», занимавший здесь такой большой пост. Через полчаса оба они были уже в управлении, обеспокоенные случившимся.

Меня ввели в кабинет к ротмистру. Он указал на стул.

— Подайте мне «дело» Вертинского! — распорядился он.

— «Дело»? У меня дело? Но какое?

Я с изумлением и тревогой смотрел на толстую папку, до отказа набитую бумагами. Потом я узнал, что все это были донесения из провинции обо мне и моих концертах, наскоро состряпанные местными агентами.

— Вы большевик? — в упор глядя на меня, спрашивал ротмистр.

— К сожалению, нет!

— Почему «к сожалению»?

— Потому что, если бы это было так, я пел бы у себя на Родине, а не ездил бы в такие дыры, как Кишинев.

— Вы занимаетесь пропагандой!.. — крикнул ротмистр, стуча кулаком по столу.

— Укажите мне, в чем она заключается…

— Вы поете, что Бессарабия должна принадлежать русским!

— Неправда!

Он ткнул мне в лицо перевод песни.

— Я не читаю по-румынски и не знаю, что здесь. Я знаю только то, что я написал!

Ротмистр злился. Он грозно потрясал в воздухе моей безвредной песенкой «В степи Молдаванской», «Да-да, конечно. Вы маскируете смысл, но все понимают, что вы хотите сказать!»

— Было бы странно, господин ротмистр, если бы я пел так, чтобы меня не понимали!

— Вы — советский агент! — раздражаясь все больше, кричал он. — Вот здесь мне доносят, что вас засыпают цветами! Вы разжигаете патриотические чувства… у русских! Вы обращаетесь с речами..

— Никаких речей я не говорю!

— Я запрещаю ваши концерты. Как вы попали сюда? Кто дал вам визу?

Допрос длился час.

Резолюция была коротка: выслать из пределов Бессарабии в Старое Королевство.

Напрасно хлопотали мои друзья, нажимая на свои связи и знакомства. Ничего сделать было нельзя. Совершенно ясно, что «дело» о моем «большевизме» было мне «пришито». Настоящая же причина крылась в чем-то другом. После нескольких дней, во время которых меня ежедневно в пять утра таскали на допрос, я, наконец, догадался рассказать друзьям историю с шансонеткой в кишиневском саду.

После этого все стало окончательно ясно для них и для меня; я осмелился отказать в просьбе любовнице всесильного генерала

Поповича! В ту же ночь я был отправлен в Бухарест, в главную сигуранцу.

Мы с Кирьяковым очутились в купе третьего класса. Напротив нас, небрежно закинув ногу за ногу, расселись знакомые сыщики, которым мы давали по десятке. На лицах их было особое выражение. Они как бы говорили «Вот видишь, «последние» стали «первыми». Ты думал от нас десяткой отделаться, а теперь вот и тысячей не отделаешься!»

Мимо нас проплывали кукурузные поля, леса, небольшие станции. Мы вытащили из корзинки курицу и яйца, которые дала нам на дорогу добрейшая мадам Кодрян, сыщиков послали за бутылкой вина и устроили завтрак. От крепкого бессарабского вина сыщики осовели и через час заснули, блаженно захрапев в углах вагона. Мы с Кирьяковым посмеялись и пошли в вагон-ресторан пить кофе. Там нас и отыскали часа через два проснувшиеся сыщики. Радость их была неописуема. Они, вероятно, думали, что мы сбежали. Но бежать было некуда и незачем, и мы мирно продолжали свой путь до Бухареста, делясь папиросами и пищей со своими спутниками.

Сигуранца

В восемь утра наш поезд остановился на Бухарестском вокзале, а к девяти часам сыщики привели меня в сыскное. Толстый, упитанный начальник сигуранцы, прочитав сопроводительные бумаги, кивком головы отпустил сыщиков (Кирьяков остался в коридоре), ухмыльнулся чему-то себе под нос и задал мне один-единственный вопрос:

— Деньги есть?

— Есть, — ответил я.

— Сколько?

В кармане у меня лежало пятьдесят тысяч лей. Это было все, что я заработал от концертов. Он взял деньги, внимательно сосчитал их, взял мои часы, портсигар, еще какие-то мелочи из карманов. Потом велел снять воротничок и галстук, как с бандита, спрятал все это в шкафчик и дал мне номер 63.

— Вы арестованы пока здесь, при сигуранце, впредь до особого распоряжения! — сказал он.

На мои попытки выяснить, за что я арестован, он отвечал:

— Это не наше дело.

Меня отвели в подвал, где сидело несколько воров. Это была большая комната, уставленная до половины «партами». Здесь читали лекции сыщикам, учили их всей премудрости ремесла.

Воры — поляки, бессарабцы — говорили по-русски, к тому же были еще моими поклонниками. По вечерам они просили меня петь. Петь свои песни мне не хотелось, и я обычно пел какую-нибудь русскую народную песню вроде «То не ветер ветку клонит», «Ермак» или, чтобы попасть им прямо в сердце, — «Александровский централ». Я знаю и люблю русские песни — звонкие и печальные, протяжные и заливистые, пронизывающие все существо сладчайшей болью и нежностью, острой, пронзительной тоской, наполняющие до краев сердце любовью к далекой родной земле. Словно светлые невидимые нити тянутся к душе. Словно где-то вверху в тюремной камере открыли окно. И оттуда рвется на волю загнанная, заброшенная душа… И омывается от грязи житейской, очищается светлыми слезами, слезами муки, жалости и прощенья.

Славно пели воры. Пели не спеша, пропевая и протягивая каждое слово. Пели любовно и бережно. Осторожно подходили к ноте, к фразе, точно у них в сердце она давно уже была обдумана, пережита, перепета и обласкана.

Чудесная, великая сила — русская песня! Она отражает мужество, терпеливость, гордость народа, его глубочайшую

мудрость, чистоту, любовь к Родине! С ней и работа легче, и горе тише, и смерть не страшна!

Новое знакомство

Однажды утром дверь нашей камеры-школы открылась и к нам вошел сравнительно молодой еще человек, который при ближайшем знакомстве оказался знаменитым международным вором Вацеком. Наш новый «товарищ» оказался милейшим парнем, веселым и добрым. Он был с полицией и сигуранцей, что называется, на «ты», был очень богат. И хотя денег у него, как у всякого арестованного, не могло быть, тем не менее ему сторожа приносили все, что он заказывал. У него, как у всякого «большого вора», был собственный адвокат, и, вероятно, он и оплачивал все его счета. У нас сразу появились вино и еда в неограниченном количестве и даже сигареты. Как настоящий джентльмен, Вацек широко угощал своих младших коллег, честно деля между ними все, что присылалось ему. Перепадало и мне от барской руки. Ко мне он сразу почувствовал симпатию, и мы начали подолгу разговаривать на разные темы.

Воры буквально благоговели перед ним. Это был настоящий «премьер» — красивый, воспитанный, умный, а главное — удачливый в своей профессии. Мелочами он не занимался — «работал» только с банками. Приехав в город, где его никто не знал, он приходил с «помощником» в самый большой банк в деловое время. В его руках был большой портфель. Быстро оглядев зал и учтя положение, он спокойно и решительно подходил к тому окошку, где получал крупную сумму денег, к примеру, артельщик, становился рядом с ними раскрывал свой портфель, ища в нем какие-то бумаги. Когда артельщик пересчитывал деньги, помощник Вацека, проходя мимо, незаметно ронял на пол пачку денег, вежливо трогал его за плечо и любезно говорил:

— Простите, вы, кажется, уронили деньги?

Артельщик оглядывался и, нагнувшись, подымал пачку, благодаря за любезность. Этого момента Вацеку было достаточно, чтобы перебросить в свой уже открытый портфель несколько крупных пачек его денег. После этого в тот же день он исчезал из города. Комбинация была чистая и смелая. На этот раз он тоже не попался, но во время обыска сигуранцы у него нашли двести тысяч лей.

Теперь их интересовало, откуда у него эти деньги.

— Я могу хоть сегодня уйти отсюда, — со смехом говорил Вацек. — Они не могут доказать ничего. Потому что я «достал» их даже не в Румынии. Мой адвокат докажет им, что в течение этого месяца в Румынии не было ни одною ограбления банка. Они

просят пятьдесят тысяч, чтобы отпустить меня. А я и копейки не дам этой сволочи. — И он заразительно захохотал.

— Подержат еще пару дней и выпустят. Ничего со мной они сделать не могут!

По ночам я пел ему «блатные» песни — «Клавиши», «Централ» и другие. Он слушал меня часами и вздыхал.

Мы сдружились.

— Если я тебе смогу быть полезным, когда выйду отсюда, — сказал Вацек, — ты скажи, что тебе надо, я помогу с удовольствием.

Я поблагодарил его. Мне ничего не было нужно.

Через две недели утром меня вызвали наверх.

— Вы свободны, — сказал мне толстый начальник. — Можете ехать или оставаться в Бухаресте. Можете быть всюду, кроме Бессарабии.

Я кивнул головой.

— Вот ваши вещи!

Передо мной лежал галстук, портсигар, гребешок, но денег не было.

— А деньги? — спросил я.

Лицо начальника выразило максимум изумления.

— Деньги? Какие деньги?

— Пятьдесят тысяч лей!

Начальник строго взглянул мне в глаза.

— Итак, вы утверждаете, — откашлявшись, медленно проговорил он, — что у вас было пятьдесят тысяч лей? Так я вас понял?

Я кивнул.

— Стало быть, эти деньги у вас пропали?

— Да.

— А-а… — задумчиво протянул он. — В таком случае мне придется задержать вас еще на некоторое время, пока мы произведем расследование.

Я понял.

— Извиняюсь, господин начальник, я совсем забыл. Я оставил их дома на комоде…

— Так будет лучше, — сказал он.

Я улыбнулся и вышел.

Мытарства

Выйдя из сигуранцы, я стал соображать — что же делать дальше. Деньги у меня отобрали. Петь мне было негде. В Бессарабию ехать нельзя, а в Бухаресте очень мало русских. На целый концерт их бы не хватило, да и разрешили ли бы мне этот концерт? Пошарив в кармане, я наскреб двадцать лей. На эти деньги я сбрил бороду и усы и вместе с Кирьяковым остановился в номере маленького отеля.

Через несколько дней Кирьяков нашел мне место. Он «продал» меня в «шантан» одному греку. Шантан был третьесортный, довольно грязный. В главном зале публика смотрела программу, а рядом был ресторан с ложами. Программа состояла из бесконечного числа румынских девиц, танцевавших один и тот же танец, вроде «казачка», но в разных костюмах и под разную музыку. Кроме них был куплетист, дрессированные собаки. Пел я какую-то ерунду с веселыми припевами, старые цыганские романсы, вроде «Нет, не хочу», «Ямщик, гони-ка к Яру» и т. д. Пел под оркестр. Посетителям нравилось. Они подпевали и раскачивались в такт песне. Хозяин был доволен и «положил» мне пятьсот лей в месяц. Этой суммы было вполне достаточно, чтобы не голодать и оплачивать отель. А дальше? Что делать дальше? Надо было пробраться в Польшу. Мы с Кирьяковым не сомневались, что мое имя там сделает сборы. Но как доехать? Где взять денег? Одни билеты и визы туда, даже третьим классом, стоили около двадцати тысяч лей. Горизонтов у нас никаких не было. Оставалось ждать чуда.

В Бухаресте был русский консул, точнее, бывший консул, Поклевский-Козелл. Румыны позволили ему жить в здании посольства и даже приглашали его на некоторые полуофициальные приемы. Вокруг него группировалась как раз та часть русской публики, которую я не любил и которая не любила меня за мои «слишком левые взгляды» и суждения о Советской России. Эту группу составляли бывшие русские гвардейские офицеры, бессарабские помещики черносотенного толка, «великосветские» дамы — бывшие фрейлины и жены генералов. Напрасно было бы искать там какого-нибудь сочувствия или поддержки. К тому же я считался не «эмигрантом», а греческим подданным, которому надлежало искать защиты у «своего» консула. Но греческого консульства в Бухаресте не было. Да я и не очень-то стремился попадаться на глаза «своим» консулам. Они могли отобрать у меня паспорт. Я молчал, как таракан, забившись в грязную щель второклассного отеля.

Из грязноватого театрика, в который меня «устроил» Кирьяков, я перешел в самый фешенебельный в городе ночной кабак «Альказар», где выступали только заграничные артисты. Я уже получал полторы тысячи в месяц, но все равно уехать на эти деньги было невозможно. На многое я насмотрелся и многому научился в этом шантане. Прежде всего этот кабак, как и последующие, был для меня хорошей школой. До этого я был избалованный актер, «любимец публики», который у себя на Родине мог капризничать сколько угодно — мог петь или не петь по своему желанию, мог повернуться и уйти со сцены, если публика слушала недостаточно внимательно, мог менять антрепренеров, театры и города, заламывать любые гонорары и т. д. Все это сносилось очень терпеливо окружающими, которые, затаив дыхание, следили за робкими шагами моего творчества.

Наши актерские капризы и фокусы на Родине терпелись с ласковой улыбкой. Актер считался высшим существом, которому многое прощалось и многое позволялось, и все это объяснялось «странностями таланта», «широтой натуры».

От всего этого пришлось отвыкать на чужбине. Кабаки были страшны именно тем, что, независимо от того, слушают тебя или не слушают, ты должен петь. Публика может вести себя как ей угодно. Петь и пить, есть, разговаривать, шуметь и даже кричать — артист обязан исполнять свою роль, в которой он здесь выступает. «Гость» — святыня, «гость» — всегда прав: он платит деньги.

Но возьмем лучшее. Представим, что публика ведет себя скромно, не кричит, не разговаривает, не мешает артисту выступать. Все же иметь успех в кабаке гораздо труднее, чем в театре. В театр приходят слушать, а в кабак — кушать, пить, танцевать. И любой посетитель, если вы будете к нему в претензии за невнимание, может вам ответить:

— Я пришел сюда из-за бифштекса или солянки, а не из-за вас, мой милый! И я не виноват, что вы тут поете и мешаете мне переваривать пищу! Я в кабаке, а не в театре!

И он прав. По-своему, как говорится, «по-каторжному», но прав.

И я пел. Пел при стуке ножей и вилок, хлопанье пробок, криках, шуме, визге, хохоте, ругани и даже драках. Пел точно и твердо, не ища «настроений», не дрожа и не расстраиваясь. Как механик или инженер, работающий под обстрелом. Я не искал успеха и не думал о нем — я пел для «мастерства», для практики. Оттачивая и уточняя детали, обдумывая каждую мелочь, спокойно, холодно и расчетливо. Совершенно не считаясь с

выгодой.

Я имел успех и не имел успеха. Это зависело от публики и ее настроений. Конечно, мое имя много помогало мне и заставляло людей затихать при моем появлении. Но не всегда. Некоторые иностранцы, особенно англичане, меня терпеть не могли.

В кафе «Капша» на Кала-Виктория, лучшем кафе города, собирались «сливки» эмиграции. Там «хагашо когмят» — сказал мне еще раз князь Мурузи, попавший из Константинополя в Бухарест, отчасти по закону инерции, а отчасти из-за своей неутолимой любви к еде. Русская аристократия любила покушать. Румынско-французское меню «Капшз» было переполнено русскими блюдами, которым «научили» дирекцию русские посетители. «Бессмертными» фамилиями Строгановых, Гурьевых и других гастрономических русских светил уже пестрели все карточки ресторана.

Сидя в уютном кабинете ресторана, тоскующие эмигранты начинали свои «гастрономические скитания». Терпеливо, любовно, тщательно. Для начала к столу подавали замороженные бутылки «Тройки» — русской заграничной водки. «Усевшись» в эти «тройки», путешественники «мчались» по необъятной Руси. Первой остановкой была Астрахань. Какую там подавали икру!.. А дальше вдруг, капризно меняя маршрут, поворачивали в Москву. Какая солянка или уха ждала их, какие расстегаи! Потом посещали Украину или Кавказ, ели котлеты в Киеве, шашлык в Грузии, запивали все это милым сердцу кисловодским нарзаном, которого было много в городе, или настоящим «Напареули» и «Цинандали», которое тоже импортировалось из Советской России. На сладкое ели петербургскую гурьевскую кашу. После кофе подавали крымский виноград и персики, а иногда бывала возможность раздавить бутылочку «абрашки», как интимно звалось в этом кругу «Абрау-Дюрсо» — знаменитое наше шампанское.

Да. Эту эмиграцию нельзя было обвинить в недостатке «патриотизма».

Однажды, закончив свой «номер», я сошел в зрительный зал. Был один из тех пустых вечеров, когда публика, точно сговорившись где-то предварительно, отсутствовала.

Несколько шансонеток лениво бродили между пустых столиков. Танцор Фарабони — худенький итальянский сутенер — ссорился с дежурной «женой» из-за плохо выглаженных шелковых сорочек. Музыканты делили вчерашнюю выручку, громко поминая худыми словами какого-то гостя, который заказывал оркестру много вещей, а мало дал.

В вестибюле скрипнула дверь. На пороге показался метрдотель. Он мигом дал понять всем, что идет «гость». Музыканты бросились к инструментам. Девицы начали пудриться, красить губы, лакеи — оправлять скатерти.

Вошел высокий, очень элегантный мужчина в прекрасно сшитом темно-синем костюме с хорошим платком и галстуком. Пройдя по вестибюлю, он не спеша выбрал столик и сел недалеко от меня. Вынул золотой портсигар, закурил, стал что-то объяснять лакею. Мне бросились и глаза его руки. Бледные и узкие, с блестящими ногтями. И почему-то знакомые мне.

«Где я видел эти руки?» — мелькнуло у меня. Его лицо было в тени, и мне оставалось только рассматривать хорошо выстриженный затылок и блестящие черные волосы, приглаженные ровной волной до затылка, как у аргентинских «жиголо». Он заказал мадеру и… неожиданно обернулся.

— Вацек! — радостно вскрикнул я.

Это был он, мой приятель по неволе, товарищ по несчастью.

— Хелло! — он уже шел мне навстречу, протянув руки. — Что ты здесь делаешь в этой трущобе? Поешь? Зачем? И кому? Этой сволочи? — закидывал он меня вопросами. — Но они ж тебя не понимают!..

Он смеялся и говорил, перебивая меня, как всегда напористый, насмешливый и уверенный в себе. Лакеи извивались перед ним, как ужи перед укротителем. Это был «настоящий» гость. Через полчаса музыканты окружили его столик, наигрывая ему одесские блатные мелодии. Знаменитый Григораш — первый скрипач Румынии — играл ему прямо «под ножку», в карман, в бумажник, туда, где лежали толстой новенькой пачкой банковские, прессованные, нераспечатанные еще тысячи в кокетливой зеленой ленточке-бандероли. И он швырял им деньги.

Вацек был после удачного «дела». Это я сразу понял. Через десять минут внизу у оркестра был накрыт стол человек на сорок. За стол сели все артисты, музыканты и девицы, которые были в кабаре.

— Накорми и напои их! — коротко приказал он метрдотелю.

Мы остались ужинать вдвоем за его столиком.

— Как же ты отвязался от них? — спросил я, вспоминая сигуранцу.

— Через два дня после твоего ухода. Они выпустили меня за десять косых… И то я дал им из жалости. Мог и ничего не давать. А ты? Что же ты намерен дальше делать? — спросил он.

Я объяснил ему ситуацию.

— Денег нет. Билеты стоят дорого. Вот пою пока здесь, а что будет дальше — не знаю.

— Ничего, уладим, — сказал он, дружески похлопывая меня по плечу. — Сколько тебе нужно, чтобы уехать в Польшу? Я не хочу, чтобы ты служил в этом воровском притоне. Такой артист, как ты, не должен петь этим паразитам. Уезжай немедленно!

Вацек вынул пачку ассигнаций.

— Здесь — тридцать тысяч. Хватит?..

Этих денег хватало с избытком. Я поблагодарил его горячо и искренне.

— Вацек, — сказал я, — мы еще встретимся в этом мире. Дай бог, чтобы тебе везло всю жизнь. Но если когда-нибудь, в какой-нибудь стране тебе будет плохо, разыщи меня, если я там буду. Я выручу тебя, чего бы мне это ни стоило.

Он улыбнулся и махнул рукой.

— Ерунда! Мелочи! Что такое для меня деньги? Я не люблю их. Они мешают работать. С ними только гуляешь вместо того, чтобы заниматься делом, — пошутил он.

На другой день мы с Кирьяковым уже сидели в поезде, покидая надолго Румынию.

Польша

К этой стране у меня всегда была какая-то нежность. Может быть, потому, что в моих жилах, несомненно, течет некоторая доза польской крови. Людей с моей фамилией я в России не встречал, зато в Польше она попадалась мне более или менее часто. Правда, там она произносится несколько иначе. Поляки говорят: «пан Вертыньский» или «пан Верцинский». Но это уже вопрос произношения. Какой-нибудь прадед у меня, наверное, был поляком. Потом мы, русские, вообще любим поляков. Мы любили Адама Мицкевича, Шопена, Венявского, Генриха Сенкевича, Пшибышевского. В большой фаворе были у нас польские артисты Дыгас, Орда, Кавецкая, Невяровская, Щавинский…

И вот в 1923 году я приехал в радушную и гостеприимную страну.

Сразу тепло принятый и публикой и прессой, я пришел в себя, вздохнул полной грудью в родственной нам славянской стране, которая имела так много общего с моей Родиной.

Я объехал с концертами почти всю Польшу: Варшаву, Лодзь, Краков, Познань, десятки маленьких городков, все так называемые «Крессы». И везде встречал самое горячее, самое восторженное отношение к себе и своему искусству.

Принимали меня прекрасно. А после того, как я написал свою знаменитую «Пани Ирену», меня окончательно признали, и я надолго и крепко утвердился в сердцах гордых поляков и очаровательных полек.

Влияние России как старшей славянской сестры всегда было огромным. Какие бы счеты у поляков ни были с царской Россией — все равно в глубине души они ее любили и считались с ней. Я помню, как одна польская дама сказала мне:

— Вот видите — у меня на пальце кольцо. Это медальон с портретом Костюшко. Я ношу его всю жизнь. Я польская патриотка, понимаете? И все-таки, когда я слышу русскую речь, русскую поэзию, русскую музыку, русское пение — я готова плакать от восторга.

Лучшие польские актеры, такие как Юноша Стемповский, Антон Фертнер, Цвиклинская, Валтер, Майдрович, Смосарская, Щавинский, пришли ко мне за кулисы с дружеским приветом и горячими пожеланиями. Польские литераторы приняли меня в свое общество, и часто в «Старой Земянской Кавярне», где собирались они ежедневно, я читал им Блока, Ахматову.

Единственная оппозиция, которую я встретил в Польше, шла

от русских. В «савинковской» газете «За свободу» Дмитрий Философов, даже не посетив ни одного моего концерта, обругал меня худым словом. Но русская и польская молодежь, работавшая в этой же газете, горячо заступилась за меня. Началась полемика. Молодежь напирала. Через месяц Философов, вынужденный сдаться, недоуменно спрашивал: «В чем же дело, господа?.. Когда большевики посадили в тюрьму патриарха Тихона — все молчали. А когда я осмелился тронуть Вертинского — так подняли такой шум, будто я оскорбил их в самых лучших чувствах!..»

Так оно и было. Потому что я был с «ними». С теми, кому больно, кому тяжело, кто любит Родину и тоскует по ней.

Один из моих критиков писал: «Публика всегда умна — а Вертинский всегда с публикой, поэтому вместе с ней умен и Вертинский». Это верно. Я чутьем отгадывал самое главное, то, что у нее на уме, ее затаенные мысли, ее желания, верования. И когда меня ругали за упаднические настроения, то вина было не во мне, а в эпохе. С этих настроений и началось мое творчество. Меня корили ими очень долго разные мелкие и крупные журналисты еще тогда, в предреволюционной Москве, и ругали меня до тех пор, пока не пришел однажды «большой человек» Влас Дорошевич и не написал черным по белому в большой газете того времени — «Русском слове»: «Те упреки, которые бросают Вертинскому, относятся не к нему, а к его слушателям. Вертинский — только зеркало своей эпохи. И нечего пенять на зеркало, коли рожа крива!»

С этого дня меня перестали травить.

Итак — моя «оппозиция» в Польше проиграла. А поляки вообще недоумевали, за что меня ругает русская газета, если я такой единственный русский артист и к тому же их соотечественник. Приходилось долго объяснять, что такое эсеры савинковского лагеря, их отношение к СССР вообще и ко мне, подчеркивающему свои чувства к Союзу, в частности.

Но эта капля яда не отравила моего прекрасного душевного состояния. За несколько лет у меня образовался довольно большой круг друзей и почитателей. Через мою артистическую уборную прошли тысячи людей разных профессий, всех слоев общества. Бывали у меня адвокаты и народные учителя, профессора и рабочие, офицеры и ксендзы, чиновники и купцы.

Мой успех в Польше не был успехом у эмиграции — эмиграция там как раз была очень малочисленна, — это был успех у коренного населения, которое почти все, за исключением очень зеленой молодежи, понимало по-русски.

Здесь мне хочется сделать маленькое отступление. Уже в

самом начале своего артистического зарубежного пути я заметил, что в сложившейся ситуации артист, тем более артист с именем, представляющий собой такую большую и такую интересную для всех страну, как Россия, должен быть не только узким профессионалом, а чем-то большим. Невозможно передать все разнообразие вопросов, на которые приходилось отвечать мне разным людям во время моих скитаний по миру. Я уже не мог оставаться только артистом — вынужден был стать дипломатом, осторожным, тактичным, спокойным и уверенным, серьезным и непоколебимым, защищающим честь и престиж своей Родины.

О чем только меня не спрашивали. Каких только вопросов мне не задавали. И на все я должен был отвечать. Терпеливо выслушивать абсурднейшие мнения, глупейшие убеждения. Грязная ложь о СССР, которой кормили заграницу эмигрантские газеты, конечно, делала свое дело, и приходилось часто чуть ли не надрывать свой голос, чтобы доказать какому-нибудь иностранцу, что в СССР, к примеру, не едят… детей.

Приходилось бороться, пробивая стену тупости и кретинизма, воздвигнутую в ушах иностранцев злобной реакционной прессой. Но были среди иностранцев и люди, знавшие и любившие нашу литературу, искусство. Было много сочувствовавших усилиям, жертвам, которые приносила моя Родина, выковывая в огне революции новых людей и новую Россию.

Как-то, потеряв терпение в спорах с эмигрантами, я в одной из своих песен сказал:

И еще понять
беззлобно,
Что свою, пусть
злую, Мать
Все же как-то
неудобно
Вечно в обществе
ругать.

Какую бурю возмущения вызвала эта песня! Какой грязью обливали меня газеты!

Поляки очень любили и высоко ценили русское искусство. В польских театрах шли русские пьесы, в журналах и газетах сплошь и рядом печатались переводы русских авторов, в книжных магазинах было сколько угодно произведений русских поэтов и писателей на польском языке. А когда в Варшавской филармонии был объявлен «конкурс Шопена», то первый приз, да, кажется, и второй взяли пианисты, приехавшие из Советской России.

Полякам это было обидно, потому что Шопен — их национальная гордость, и, казалось бы, кому же, как не им, исполнять его.

Помню, директор филармонии Млынарский говорил мне в фойе во время концерта:

— Мне делается страшно, когда я подумаю, какие возможности таятся в вас, русских… Ведь вот я столько раз слышал Шопена, но такого Шопена я еще никогда не слыхал.

А победители — скромные худые юноши — застенчиво кланялись и словно спешили скорей отвязаться от оваций, которыми их награждала публика, считая, что так и надо, и ничего, мол, тут особенного нет.

В Варшаве было много военных. Их разнообразная блестящая форма — шпоры, палаши, эполеты — напоминала времена старого Петербурга, гвардейских полков, балов и кутежей. Вообще Польша того времени еще жила по-старинному. Мужчины стрелялись на дуэлях из-за женщин, в театрах балеринам и премьершам подавали на сцену корзины цветов в рост человека или коробки конфет величиной с ломберный стол. Богатые помещики жили за границей три четверти года и проигрывали в Монте-Карло целые состояния. Газеты издавали на парижский лад, и было их множество.

Депутаты в сейме горячились, кричали и стрелялись порой из-за разницы во взглядах. Польские женщины, томные и нежные, влюбчивые и коварные, кружили головы и молодым и старым, и нередко можно было слышать, а то и читать в газетах о том, как какой-нибудь родовитый польский магнат женился в шестьдесят лет на восемнадцатилетней балерине или хористке из «Ревю».

Русская эмиграция была представлена слабо. Не знаю, по каким причинам, вероятно, потому, что все стремились «к центрам» и в Польше не задерживались, а может быть, и потому, что получить право на проживание в Польше было необычайно трудно. Во всяком случае, никаких «видных фигур» там не было. Помню председателя комитета старика Семенова, который любил покушать и поиграть в бридж, и еще две-три малозначительные фигуры, фамилий которых я, увы, не удержал в памяти.

Газета «За свободу», которую издавал Дмитрий Философов, влачила жалкое существование, и если бы не субсидия правительства — давно бы скончалась. В кафе у «Люрса» — внизу, в бильярдной, — писатель Арцыбашев ежедневно играл с желающими по несколько партий и давал большие «форы». Был он уже стар и почти глух. Приходилось кричать ему в самое ухо.

Встретив меня по приезде, он сказал:

— Читал, что ты теперь замечательно поешь. Приду, приду тебя посмотреть. — Слова «послушать» он так и не сказал.

Как-то после концерта мне довелось познакомиться с одним видным человеком. Это был Андрей Вержбицкий — депутат сейма и председатель Союза промышленников Польши. Он очень много помог мне. Все трудности, которые чинили власти иностранным артистам, когда дело касалось получения визы на въезд и права работы, — мне были значительно облегчены благодаря его вмешательству. Вержбицкий был искренним любителем русского искусства. На Россию он смотрел как на старшую сестру Польши и считал, что у нее надо многому учиться. Он первый поднял вопрос об отправке торгово-промышленной делегации в СССР, и сам стал во главе ее. Вернувшись из поездки, горячо ратовал за сближение обеих стран. Это обстоятельство еще более закрепило мои симпатии к нему. Я встречался с ним, вел переписку, и наша дружба все более крепла. Однажды у него в доме за ужином я познакомился с советским послом в Польше, Петром Лазаревичем Войковым. Было очень немного приглашенных, и после ужина Петр Лазаревич попросил меня спеть. Я с удовольствием согласился. Тут же вызвали моего пианиста и устроили небольшой концерт. Пел я охотно. Мне было приятно спеть своему, русскому человеку — оттуда, с Родины. Так приятно, как будто я пел «дома», для своих русских, на своей земле.

Когда я кончил петь, он подошел ко мне.

— Почему, Вертинский, вы не возвращаетесь на Родину?

Кое-как, довольно жалко, беспомощно, страшно волнуясь, я начал что-то сбивчиво и путанно объяснять ему. Объяснять, собственно говоря, было нечего. И без слов все было ясно.

И Войков понял меня.

— Приходите ко мне — поговорим обо всем и сделаем все, что можно, — сказал он.

У меня сразу стало легче на душе. Заполнив соответствующие анкеты, я обратился с просьбой разрешить мне вернуться на Родину. К моему прошению была приложена вполне благожелательная для меня личная резолюция посла, но в то время в просьбе моей отказали.

Пишу я это для того, чтобы объяснить, как давно осознал я свою ошибку и как давно стремился ее исправить.

Путешествуя из города в город, я встречался с самыми разнообразными кругами польского общества. От самых левых до самых правых, монархических. Нейтральная маска актера позволяла мне входить в любые двери. Меня не спрашивали о моих убеждениях и не таились от меня. Благодаря этому я насмотрелся в жизни на многое и думал, что меня уже давно не удивляют и не возмущают самые дикие, самые абсурдные взгляды

и убеждения — до такой степени глаз и ухо ко всему привыкли. И только тогда, когда Родина моя героическими усилиями своих сынов отбивалась от бешеного натиска разъяренных полчищ гитлеровцев, — я вдруг «потерял нерв» равнодушия и спокойствия. Я не в силах был слушать людей так называемых «белых» убеждений! Как могут, как смеют они думать о чем-нибудь другом, кроме победы нашей Родины, которая обливается кровью?..

«Чудовище, плюю на тебя!» — хотелось крикнуть мне такому человеку и бежать от него прочь, как от прокаженного, как от Иуды.

Но, возвращаясь назад, я хочу сказать, что тогда меня эти люди скорее удивляли и отчасти забавляли. В особенности монархисты. Все растерявшие, ничего не сохранившие за свое положение, не сумевшие его защищать, они были похожи на людей, которые появились в обществе в полных парадных мундирах, со всеми регалиями, но… без штанов.

Однажды в Варшаве русская дама — жена какого-то дипломата, — встретившись со мной в одном доме, шутя сказала:

— Вы мне стоите массу денег!..

— Почему? — заинтересовался я.

Решив обзавестись моими пластинками, она зашла в музыкальный магазин и купила все, что там было из моего репертуара. Через полчаса она встретилась с мужем где-то в кафе, и тот сказал, что им обоим надо ехать в Бельведер к маршалу Пилсудскому на пятичасовой прием. Не имея возможности оставить где-нибудь свою покупку, дама взяла ее с собой. Приехали они во дворец очень рано. Маршал беседовал с ее мужем и обратил внимание на покупку.

— Что это вы покупали у нас в Варшаве? — спросил он.

Дама объяснила, и маршал заинтересовался. Принесли виктролу и стали проигрывать мои пластинки. Маршалу так понравились песни, что он попросил дать ему этот комплект на несколько дней.

— Чтобы сделать ему приятное, я решила подарить их, — рассказывала дама. — Он был очень смущен таким подарком, но искренне обрадовался и заводил одну пластинку за другой.

«Какой изумительный ваш русский язык! — сказал он. — Для песни нет лучшего языка. И для выражения самых тончайших чувств и переживаний тоже». — Мне пришлось покупать весь ваш комплект второй раз…

А через несколько дней полковник Венява-Длугошевский, личный адъютант маршала, большой друг богемы, говорил мне в

Земянской Кавярне:

— Вы у нас во дворце в большой моде. Я целый день слышу ваш голос. Маршал «играет» вас, как только у него есть свободная минута.

Снова в дорогу

Сначала польское правительство очень гостеприимно принимало заграничных актеров. Приезжал Баттистини, хор «Сикстинской капеллы», Морис Шевалье, даже негритянская оперетта. Приезжали скрипачи, пианисты, певцы — одно имя чередовалось с другим. Я лично приезжал в Польшу раза три-четыре, более или менее легко получая визу и «право работы» на два-три месяца. Но постепенно доставать разрешение становилось все труднее и труднее. Официальным мотивом отказа было то, что иностранные артисты «вывозят деньги» за границу. Но настоящие причины были иные. Главная — это «Союз артистов польских», который был против: он не хотел конкуренции ни моральной, ни материальной.

— У нас много своих безработных актеров, которым есть нечего, — говорили заправилы Союза, — а мы пускаем иностранцев.

Меня всегда удивляло это, как будто от того, что польская публика, лишенная возможности послушать Гофмана или Кубелика, бросится на помощь безработным артистам и отдаст им деньги, которые она собиралась истратить на знаменитостей. Это, конечно, был слабый довод. Немалую роль играла другая причина. Она касалась, главным образом, нас, русских артистов, особенно меня. Дело в том, что так называемые «Крессы», то есть территория, принадлежавшая раньше России, была под большим влиянием русских. Часть населения вообще не говорила по-польски и жила своим чисто русским укладом.

Вот тут-то и крылась настоящая причина.

— Мы полонизируем наше русское население, а вы, приезжая, его русифицируете, — сказал мне откровенно один большой польский сановник.

Со своей точки зрения он был прав. Я только напомнил ему о том, что когда польские актеры приезжали к нам в Россию, мы не боялись, что они «полонизируют» наше население.

Сановник рассмеялся.

— Вы сравниваете Россию с Польшей. России вообще нечего и некого бояться! — И с чисто польской любезностью рассыпался в комплиментах мне и моему искусству. Однако визы не дал.

В конце моего пребывания в Польше меня вызвали в министерство иностранных дел, где приходилось брать разрешения. Министр, с которым я был знаком еще по Москве, мой «поклонник», в очень деликатной форме дал мне понять, что «по независящим от него обстоятельствам» он вынужден просить

меня на две недели уехать из Польши.

— Вы можете прожить эти две недели где-нибудь поблизости, в Данциге например, а потом приезжайте и пойте сколько вашей душе угодно.

Я был поражен этой странной просьбой и просил объяснить мне причину.

— Я не могу дать вам никаких объяснений! — уклончиво сказал он.

И никто в городе не мог мне этого объяснить.

Ничего больше не оставалось, как собрать чемоданы и уехать в Данциг, что я и сделал.

Потом все разъяснилось. В Варшаве ждали визита румынского короля. До его приезда из Бухареста прибыл целый штат тайной полиции, чтобы подготовить охрану. Приехавшие сыщики затребовали у полиции списки всех иностранцев, пребывающих в данное время в Польше. Прочтя мое имя, они, очевидно, указали на меня как на «неблагонадежный элемент». И, вероятно, попросили меня на время убрать. Таким образом, рука сигуранцы еще раз дотянулась до меня.

В последний раз я уже не мог добиться визы с правом выступлений и поэтому, подписав в Германии контракт с польским граммофонным обществом «Сирена» на напев моих песен для пластинок, я взял визу в Вену — через Польшу. Моя транзитная польская виза была действительна только на три дня. За эти дни я успел напеть свои песни, повидаться с друзьями, посмотреть Варшаву и ровно через семьдесят два часа уехать в Вену. Но там я пробыл недолго, — подался в Париж.

Франция

Моя Франция — это один Париж, но зато один Париж — это вся Франция! — так могу сказать я, проживший в этой прекрасной стране почти десять лет.

Я любил ее искренне, и, кроме чувства благодарности к ней, у меня ничего не было в сердце.

Париж! Этот изумительный город покорял всех. Его нельзя было не любить, нельзя забыть или предпочесть ему другой. Объездив все города Европы, побывав в Америке и других частях света, я нигде не мог найти равного ему, найти слова, хотя бы отдаленно выражающие неизгладимое впечатление, которое оставил в моей душе его величественный образ. И при этом он был ко мне радушен и гостеприимен, как ни один город в мире. Это был город, где человеческая личность и ее свобода чтилась и уважалась. Ибо за нее когда-то боролись, ее добывали в огне революции, за нее заплатили дорогой ценой.

Свобода была у французов в крови. Она для них естественная и необходимая атмосфера, и только тот, кто долго жил во Франции, может себе представить, какое огромное национальное горе постигло эту чудесную солнечную страну, когда ее топтали сапоги фашистов.

Во Франции вы, будучи пришельцем, чужеземцем, могли жить без всякой опаски. Ваш покой, покой вашего очага, дома, семьи уважался и охранялся.

Обессиленная продолжительной войной Франция нуждалась в мужском труде — война унесла многих ее сынов в могилу. Мужские руки ценились. Десятки тысяч русских эмигрантов работали на заводах Рено, Ситроена, Пежо и других. Много людей «село на землю» и занималось сельским хозяйством — и собственным, если были средства, и чужим, если приходилось наниматься. Наших «русачей», способных, трудолюбивых, выносливых, принимали охотно на любые работы. Чем только не были мы во Франции! И инженерами, и шоферами, и гарсонами, и танцорами, и управляющими делами, и банкирами, и «жиголо», и законодателями мод!

Манташевские лошади брали «гран-при» на скачках. Туалеты наших буржуазных дам описывались в газетах, так же как и их приемы.

Наши артистические силы блистали на парижском горизонте, как звезды первой величины.

В театре «Шан-з-Элизе» пел «сам» Шаляпин, в «Гранд Опера» танцевал изумительный Сергей Лифарь, в зале «Плейель» играл

божественный Рахманинов. А балет «Монте-Карло» с Леонидом Мясиным, Рябушинской, Барановой и Тумановой буквально заворожил Париж, как и весь мир. «Летучая мышь» Балиева, путешествуя то по Англии, то по Америке, каждый сезон пленяла парижан своими блестящими постановками. Мы были тогда «анвог» — в моде. Перед нами в Париже были открыты все двери и все сердца. Правда, Париж познакомился с нами не только по эмиграции. Нас знали и раньше. Русские любили Францию давно. Париж знал и принимал нас.

Старые французы, вспоминая былые знакомства с нашими предками, нередко с нежной грустью называли то одно, то другое забытое имя, спеша заверить вас, что это был настоящий «бояр рюсс». Вам оставалось только представить себе, что выкидывал этот «бояр» в свое время в Париже.

Правда, тихие старички рантье, держатели наших военных займов и бумаг, много потерявшие от революции, ворчали себе под нос:

— Когда же, собственно, нам заплатят?

Но их всегда можно было успокоить. Для этого только нужно было назначить точную дату. Старички вздымали и высчитывали — успеют они умереть до этого времени, чтоб не разочароваться, или нет? И тихо отходили в сторонку.

Эмигрантское «нашествие» во Францию в те годы не отразилось на ней. Всего во Франции нас, русских, было тысяч двести-триста, в Париже — тысяч восемьдесят. Но мы как-то не мозолили глаза. В этом колоссальном городе мы растворялись, как капли в море.

Американцы развлекаются

После утомительной и долгой войны, потребовавшей напряжения всех сил страны, люди устали. У всех было только одно желание — покоя, отдыха, комфорта! Война была забыта моментально как дурной сон. Как будто никогда и не было битвы на Марне, Вердена, Лувена, разрушенных городов, миллионов убитых.

Правда, любопытные американские туристы ездили иногда осматривать от скуки поля битв, где сотни тысяч рабочих выкапывали медь, свинец и железо из земли, вспаханной германскими снарядами. Да еще раз в год, в День перемирия, по Елисейским полям проходила страшная процессия калек, людей, отдавших родине свои силы, здоровье и даже свой человеческий облик. Вереницы безногих, безруких, слепых, в детских колясочках или гуськом, держась друг за друга, волоклись по улицам вечного города — поклониться праху Неизвестного солдата, спавшего вечным сном под Триумфальной аркой. Страшно кривились трагические маски их изуродованных лиц, точно вопия к небу. А впереди всех шла организация «Лягель кассе» — в грубом переводе «Разбитых морд»… Никакая фантазия художников, пожалуй, не могла бы придумать более страшных масок, которые остались от когда-то мирных и спокойных человеческих лиц. И огромные толпы народа, стоявшие по обеим сторонам широких парижских авеню, в ужасе отворачивались от этих призраков войны.

Раз в год в пользу этих несчастных устраивали бал в «Гранд Опера». Парижские дамы появлялись на нем в таких умопомрачительных туалетах, что в газетах не хватало места для описания хотя бы самых главных из них. Это были настоящие дуэли между женщинами. Состязания в роскоши, красоте, богатстве, элегантности, и не только между носительницами платьев, мехов и бриллиантов, «доводящих ум до восторга», но и между ювелирами, меховщиками, салонами мод — всеми этими Вортами, Пакэнами, Пату, Молинэ, проявлявшими чудеса вкуса и выдумки в линиях и фасонах платьев. Между Ван-Клифами, Фаберже и другими, придумывавшими для дам фасоны браслетов, серег и клипсов. Между куаферами, парфюмерами, сапожниками, целой армией художников, закройщиков, парикмахеров, мастеров, работавших на женщин дни и ночи на многочисленных фабриках женской красоты. Миллионы, сотни миллионов стоили их платья, драгоценности и автомобили, в которых они появлялись на балу, чтобы «помочь этим

несчастным».

Сбор с этой «выставки богатства» был меньшим, чем стоил любой камень на любой из ее посетительниц. Но… «приличия» были соблюдены, а «тени прошлого ужаса» снова отодвигались в небытие, предавались забвению.

Париж веселился. Париж кипел, бурлил, жил полной жизнью мировой столицы. Из-за океана огромные белые пароходы привозили во Францию сотни тысяч американцев, «до отказа» набитых деньгами, которые они заработали на войне, в эпоху своего «просперити», за их доллар давали целых двадцать пять франков. Они платили весело, не торгуясь, тратили широко и непринужденно, совершенно не зная, куда девать сказочные капиталы, покупали все, что обращало их внимание в этой стране, в этом городе роскоши. Доходили до того, что, заметив какой-нибудь понравившийся им замок в провинции, какое-нибудь старинное «шато XII или XVIII века, покупали его и целиком, до последнего камня и дерева, перевозили на пароходах к себе в Америку. Элегантные лимузины летели, как пчелы, сплошными роями по асфальту парижских улиц, гигантские вывески сверкали, миллионами огней, огромные кафе, переполненные публикой, расположились на широких тротуарах…

Князь Феликс Юсупов, высокий, худой, стройный с иконописным лицом византийского письма, открыл свой салон мод. Салон назывался «Ирфе» — по начальным буквам «Ир» — Ирина (жена) и «Фе» (Феликс). Салон имел успех. Богатые американки, падкие на титулы и сенсации, платили сумасшедшие деньги за его модели, — не столько потому, что они были так уж хороши, сколько за право познакомиться с человеком, убившим Распутина.

Жена князя — бледная, очень молчаливая и замкнутая, с красивым строгим лицом — принимала покупательниц. Она никогда не улыбалась, редко показывалась где-нибудь. Сам же Юсупов очень любил общество и особенно людей от искусства. В его доме я встречал и Куприна, и Бунина, и Алданова, и Тэффи, и художников, и артистов. Наше знакомство началось с моих концертов и моих песен, которые Юсупов очень приятно пел, аккомпанируя сам себе на рояле или гитаре. Когда в Париже появились мои пластинки, он покупал их комплектами, даря своим друзьям и знакомым. Вернувшись из Румынии, я показал ему «В степи Молдаванской». Песня произвела на него большое впечатление.

Как-то мы сидели в его кабачке «Мэзонетт рюсс», который он открыл для своих друзей, чтобы поддержать их материально, и

пили вино.

— И вы видели Россию своими глазами, так близко? — спрашивал он.

Я рассказал ему о Днестре, о церковном звоне, о людях на том берегу…

Он разволновался.

— Мы потеряли Родину, — грустно говорил он, — а она есть. Живет без нас, как жила и до нас. Шумят реки, зеленеют леса, цветут поля, и страшно, что для нас она уже недостижима, что мы для нее уже мертвецы — тени прошлого! Какие-то забытые имена, полустертые буквы на могильных памятниках. А ведь мы еще живы! Но не смеем даже взглянуть ей в лицо!.. Вам страшно было смотреть на нее?

Я объяснил все, что чувствовал тогда.

— Я часто вижу Россию во сне, — сказал он, задумавшись. — И вы знаете, милый… если бы было можно, тихо и незаметно, в простом крестьянском платье, пробраться туда и жить где-нибудь в деревне, никому не известным обыкновенным жителем… какое бы это было счастье! Какая радость!

Оркестр заиграл что-то очень громкое, и мы переменили разговор.

Русская эмиграция жила главным образом за счет иностранцев. Как, впрочем, и весь Париж.

Разменяв доллары, иностранцы получали на них кучи франков, и поэтому все им казалось дешево. Отвыкшие у себя на родине от алкоголя, американцы быстро напивались, счета оплачивались не глядя, а иногда и по два раза один и тот же счет, «на чай» давали щедро, а за ними «охотились», как за настоящей дичью. Их передавали из рук в руки. Использовав «гостя» в своем ресторане, метрдотель посылал его со «своим» шефом в другой, предварительно условившись по телефону, сколько он будет за это иметь процентов со счета. Их заманивали, переманивали при помощи женщин, перепродавали, просто грабили…

На Пигале, в «Каво Коказьен», смуглый и стройный Руфат Халилов танцевал лезгинку с кинжалами во рту. Каждую крупную ассигнацию, которые летели на пол, он прокалывал кинжалом. Легко плыл в танце, чуть раскачиваясь, то бешено вскрикивая, то замирая на месте, он, стоя на пуантах, вдруг прыгал, как тигр, и, подлетев к столу, где сидели женщины пошикарнее и побогаче, втыкал неожиданно кинжал между бокалами и бутылками вина. Француженки и англичанки взвизгивали от ужаса и сразу влюблялись в Халилова. Уходя, они совали ему в руки тысячи франков и назначали свидания.

В каждом кабачке был свой танцор лезгинки. Но, конечно, не

такой, как Халилов. Он действительно танцевал изумительно. Какая-то американка возила его даже в Америку, откуда он, впрочем, скоро вернулся, не сделав карьеры. Вдоль стен, по уголкам сидели так называемые «концентории»— женщины, с которыми можно было потанцевать, если гость пришел без дамы, и пригласить к столу. Тут был другой подход к гостю. Надо было «делать счет» побольше. Большинство из них разыгрывали из себя «дам общества», «ограбленных революцией», аристократок — княгинь, графинь, баронесс, все потерявших в России, — женщин, которые были так богаты, что их уже ничем удивить нельзя. Они принимали деньги и чеки от американцев небрежно и полупрезрительно, безжалостно «выставляя» их. Заставляли делать «счета» хозяину, давать музыкантам, лакеям, танцорам — до тех пор, пока у гостя не кончались деньги и пока в чековой книжке оставался хоть один листок. Мифические кавказские князья, служившие «танцорами», рассказывали старухам из Нью-Йорка о своих сказочных владениях на Кавказе и, увлекая «темпераментом» и внешностью, как по нотам «разыгрывали» их. Жили они очень неплохо. Одевались у лучших портных, имели «гарсоньеры», шикарные машины и брали крупно — большими чеками сразу. В свободное время широко кутили с молодыми французскими мидинетками и сорили деньгами. Женились на богатых американках, разводились, ссорились, но жили одной семьей держась друг за друга.

Когда в Париже появилась картина «Путевка в жизнь», они ходили в кино по нескольку раз и, возвращаясь, пели:

Там вдали за рекою
Сладко пел соловей.
А вот я на чужбине
И далек от людей.

Пели тихо, усевшись в кружок, и на глазах у них часто можно было видеть слезы. Почти у каждого из них на Родине оставались близкие, которые жили там, работали, выдвигались иногда на очень большие посты, и бедняги с гордостью рассказывали о своих братьях и сородичах.

В «Казанове» — маленьком, но очень дорогом «буате», приютившемся у подножья монмартрского кладбища, был «венецианский» стиль. Стены были заставлены хрупким венецианским стеклом, светящимися аквариумами, столы тоже светились. Тут «подавали» бывшие гвардейские офицеры, затянутые в голубые казакины с золотыми галунами. Зарабатывали они бешено. Меньше пятисот-тысячи франков им

«на чай» не оставляли. Это были люди из «общества», и дать меньше считалось неприличным. Почти все они приезжали «на работу» на собственных машинах, в частной жизни одевались как лорды.

В «Казанове», где я пел, тоже бывали «сливки» Парижа. И не только Парижа — всего мира. Часто бывали вечера, когда за столами сидели такие персоны, как Густав Шведский, Альфонс Испанский, Принц Уэллльский, Король Румынский, Вандербильдты, Ротшильды, Морганы. Приезжали и фильмовые знаменитости — Чарли Чаплин, Дуглас Фербенкс, Мэри Пикфорд, Марлен Дитрих, Грета Гарбо — в синих очках, чтобы ее не узнали…

Место было самое дорогое и самое «шикарное». Там играли лучшие оркестры мира, выступали лучшие артисты.

Была еще «Шахеразада» — голубая «коробочка» в восточном стиле, где бывала та же публика. Я пел в этих местах, и мне пришлось познакомиться с королями, магараджами, великими князьями, банкирами, миллионерами, ведеттами. И все они знакомились со мной только потому, что их интересовала русская песня, русская музыка. Много разговоров вел я с этими людьми, объясняй им, как строится моя необъятная Родина, как перековывают ее новые, совсем особенные люди — люди будущего, как мало похожи они на людей Запада, как далеки их идеалы от идеалов людей Европы.

Контрасты большого города

Бензиновый газ от сотен тысяч машин душным сиреневым облаком висел над Парижем. Поблескивали на солнце металлические радиаторы элегантных лимузинов, сверкали лакированные части. Как шум морского прибоя, день и ночь шелестели шины по асфальту широких авеню. В машинах сидели нежные, избалованные женщины, пахнущие острыми и томными духами. Из окон выглядывали холеные собаки каких-то особенных экзотических пород.

Над Булонским лесом вставали и потухали зори, и был он весною нежный, светло-серый, с бледно-розовыми оттенками — точно нарисованный пастелью. До двенадцати дня в ресторанах на Порт Дофин, в саду нарядные дамы пили разноцветные аперитивы, флиртовали, сплетничали, обсуждали новые фасоны платьев, встречались со своими «жиголо». По широким утрамбованным аллеям скакали длинные кавалькады женщин и мужчин в самых экстравагантных спортивных костюмах. По дорожкам гуляли те, у кого не было машин, и любовались карнавалом, выставкой роскоши и богатства.

Раз в неделю на улице Акаций, в определенном месте, собирались частные машины. Каждый, у кого был собственный автомобиль, мог стать в очередь за головной машиной. Когда набиралось двадцать машин, они уезжали за город. Отъехав километров сто или двести, вереница останавливалась где-нибудь в лесу, и начиналась оргия.

И все это были богатые люди, не знакомые между собой, искавшие острых, грубых наслаждений. На миг сближавшиеся в холодном рассудочном разврате и потом расходившиеся навсегда.

Целые кварталы, такие как «Бульвар Севастополь», знаменитая улица Шебане и другие, были заполнены «домами свиданий», где за разные цены, от десяти до тысячи франков, показывались всевозможные извращенности и уродства, от которых волосы шевелились на голове. Их посещали любопытные туристы, которым хотелось узнать Париж до самых глубин.

«Жить, жить, жить!» — кричали газеты, журналы, магазины, выставки… Жить во что бы то ни стало. Ни в чем себе не отказывать. А за Рейном, всего в нескольких стах километров от Парижа, в тиши и глубокой тайне, побежденные, но не разбитые немецкие генералы, стиснув зубы, уже оттачивали новый меч — меч реванша.

На улице Муфтар, в подвале на задворках, среди мусорных

ям и развалин, помещался кабак, особенно посещаемый туристами, желавшими узнать «дно» Парижа. Их приводили туда «кукины дети» — гиды «Кук» — агентства для туристов. Там собирались апаши, воры, проститутки. Хозяйкой была старая, седая, бывшая светская «львица», опустившаяся до самого дна, с манерами хозяйки публичного дома и хриплым голосом. Там танцевали под гармошку «жава», пили, хохотали, пели. Полуголые, растрепанные женщины извивались в непристойных телодвижениях, танцуя с сутенерами и ворами. Тусклые керосиновые лампы освещали грязные потолки, столы и грубые скамьи. Внезапно в разгаре веселья начинался скандал: бутылки, стаканы, столы — все летело в воздух; в руках у апашей сверкали ножи. Кто-то разбивал бутылкой лампу. Наступала темнота, из которой неслись стоны и крики.

— Убили! Убили женщину!.. Полиция! Полиция!

Резкий свисток оглашал воздух. Испуганных англичан и американцев выводили тайком через задние дворы. Они были в восторге и ужасе. Они видели настоящее «дно». Когда они уходили — зажигался свет, и все эти «апаши», «воры» и «убийцы» спокойно разгримировывались и шли к «львице» — тоже разгримировавшейся — получать свой гонорар. Это были актеры из маленьких театров, а сама «львица» — актриса из «Одеона».

Так жил и веселился Париж. Но на окраинах, на заводах, шахтах и фабриках рабочие поднимали голос, требуя защиты труда и социальных реформ. Газета «Юманите» — орган коммунистов — угрожающе увеличивала свой тираж. Время от времени разражался блестящей речью на выборах Марсель Кашен, громил буржуазию Торез. На демонстрациях пели «Марсельезу».

На окраинах люди не «жили», а существовали каким-то непонятным образом. По дороге в Нейи или Венсен тянулись целые кварталы жалких лачуг, сколоченных из ящиков, кусков ржавой жести, соломы, с дырками окон, заткнутых тряпками, оклеенных от холода старыми афишами и газетами. На веревках сушилось тряпье. Полуголые дети копались в мусорных кучах.

Дорогие лимузины равнодушно проносились мимо; сидевшие в них брезгливо морщились и недоумевали: как это можно было допустить в Париже, в самом центре столицы, «деревни нищих»?

В киосках на бульварах можно было купить советские газеты «Правду», «Известия». Шрифт был мелкий, убористый, деловой. Никаких сенсаций — люди строят, хлопочут, работа кипит. Пишут только о самом важном, деловом, необходимом. А развернешь парижскую газету — сенсация за сенсацией.

«Президент вылетел из окна вагона!», «Виолетт Нозьер отравила отца, чтобы получить страховую премию»,

«Семнадцатилетняя убийца содержала своего любовника», «Миллионер — спичечный король Ивар Крегер — бросился с аэроплана», «Какой-то русский — Иван Горгулов — пустил пулю в президента республики Поля Думера».

Дальше шли описания этого убийства, допросы свидетелей…

— Почему вы это сделали?

— Месть большевикам. Чтоб обратить внимание!..

— На что? На кого? Бред какой-то!

Трудные годы

«Берегите складку на брюках русской эмиграции!» — вещал, издеваясь, Аминадо. И — берегли. Тянулись из последнего. Покупали на распродажах женам расшикарные платья, обзаводились смокингами, засовывали гвоздички в петлички.

Писалось о России много. «Последние новости» и «Возрождение» ежедневно закатывали всякие «сенсации» о расстрелах, голоде, бунтах в армии…

Неутомимый Милюков — сухой и властный — крепко держал в руках «бразды правления» либеральной эмиграции. Он читал лекции о каких-то «сдвигах», «термидоре» и «неизбежном поправении» большевиков, обещая скорое возвращение домой…

Тонко и нудно жужжала «песья муха» — Кускова, рассказывая по «письмам очевидцев» и рижским сообщениям о недовольстве советской молодежи, о падении роста комсомола. Делала подсчеты, выводы, заклинала.

Но лекции не посещались. От Кусковой отмахивались. Керенскому не верили — не могли простить ему костюм сестры милосердия, в котором он бежал. Милюкова называли «сумасшедшим шарманщиком». И серьезно уговаривали меня, что эту песню я написал о нем. Ходили только на «вечеринки землячества» и на панихиды. И опять тот же Аминадо писал:

Живем, бредем и медленно седеем…
Плетемся переулками Пасси,
И скоро совершенно обалдеем,
От способов «спасения» Руси!..

Шли годы, годы «изгнания», хотя, собственно говоря, нас никто не изгонял, а «изгонялись» мы сами. Шум великого вечного города на время как бы оглушил нас и, оглушив, успокоил. Так успокаивает страдающего бессоницей таблетка веронала. Шум в ушах, безразличие, забвение, сон. Но вот утром встаешь и чувствуешь, что не отдохнул, что это только суррогат отдыха, а настоящего сна, покоя, нет. Чем дольше жили мы в эмиграции, тем яснее становилось каждому из нас, что никакой жизни вне Родины построить нельзя и быть ее не может. Особенно остро чувствовали свою оторванность поэты и писатели. Дмитрий Мережковский, маленький, легкий, высохший как мумия, целиком ушел в мистику.

Бедность. Чужбина.
Немощь и Старость.
Четверо, четверо, все вы
со мной…—

писал он незадолго до смерти, уже приготовившийся к ней.

Скоро скажу я
с улыбкой сыновней:
Здравствуй, родимая смерть!

Зинаида Гиппиус писала злые статьи. Криво улыбаясь, она язвительно «разоблачала» современное искусство… Молодежи она не понимала и не любила. Иван Бунин почти ничего не писал. Нобелевская премия, присужденная ему, поддержала на некоторое время его дух. Он съездил в турне по Европе, побывал на Балканах, в Прибалтике, на всех путях русского расселения. Эта премия вызвала большие толки.

Куприн вначале пробовал было писать рассказы, черпая материалы и сюжеты из окружавшей среды. Но кого мог заинтересовать французский быт? Жить ему становилось все труднее. Заработки в газетах были невелики, пришлось открыть переплетную мастерскую. Но дела в ней шли плохо, к тому же писатель стал плохо видеть и в конце концов почти ослеп. Его дочь Ксения, красивая способная девушка, снималась немного во французском кино, помогая родным, мечтала о возвращении на Родину.

Когда Куприн уехал в СССР, поднялась целая буря. Одни ругали его, бесцеремонно называя предателем «белого дела». Другие, более сдержанные, лицемерно «жалели», ссылаясь в виде оправдания на его болезнь и «преклонный возраст». Третьи, товарищи по перу, говорили о нем, как о «дорогом покойнике», «не заплатившем по векселю».

Алексей Толстой поступил умно и благородно, вернувшись на Родину полным сил, в самом расцвете своего огромного таланта. И его голос, ясный и убедительный, загремел издалека, из страны, в которую многим уже не было возврата, — окрепшим, молодым, сильным.

Иногда в Париж приезжали писатели из Советского Союза. Я помню в начале эмиграции приезд Владимира Маяковского, с которым в свое время в Москве мы были приятелями. Я мельком видел его несколько раз в «Ротонде» на Монпарнасе. Приезжали

Всеволод Иванов, только что выпустивший в свет свои «Голубые пески», Лев Никулин, Борис Лавренев, рассказ которого «Сорок первый» в то время наделал много шуму в эмиграции и особенно в ее литературных кругах. Проезжали мимо Ильф и Петров.

Все они сторонились нас, эмигрантов, и войти в общение с ними так и не удалось. Все же некоторые из них, с кем я начинал свою карьеру в Москве, разыскали меня, навестили и немного рассказали о жизни и стройке, которая шла на Родине. Их рассказы согрели мое сердце и заставили его биться еще сильней от тоски по ней.

Редкие встречи с советскими писателями только подчеркивали нашу отчужденность. Мы уже потеряли общий язык с ними и плохо понимали друг друга, точно это были люди с другой планеты. От них веяло новой силой, новой энергией, которой у нас не было и не могло быть. Они посмеивались над нашим «гнилым Западом», который действительно оказался гнилым, и только сейчас мы можем в полной мере оценить это точное его определение, высказанное много лет назад.

«Эрмитаж» на Комартене был рестораном, где рано или поздно встречались все. Очень дорогой и шикарный, он был открыт исключительно для иностранцев, которых интересовало все русское. Конечно, «Эрмитаж» был русским «постольку поскольку», вернее таким, каким себе представляли «русское» иностранцы. Вроде тех «русских» фильмов, которые фабрикуются в Голливуде, с великими князьями в главных ролях, с «роковыми» женщинами, какими-нибудь «Принцесс Сония» или «Тания», с «кавьяр рюсс» — русской зернистой икрой — и прочей развесистой клюквой.

«Князья» у нас были собственного завода; их было человек восемь, они служили танцорами — «жиголо» и на меньший титул не соглашались. Только один — самый маленький и захудалый, поступивший в «Эрмитаж» по протекции «хорошего гостя», согласился быть бароном. «Принцессы» сидели на красных бархатных диванах в ожидании «клиентов». Балалайки заливались в руках у веселых парней, разодетых в малиновые, зеленые и желтые рубашки с золотыми позументами. Кроме балалаечников, было еще два оркестра — «джаз» и «танго».

Однажды я привез туда из маленького кабачка «Джокей» на Монпарнасе маленькую красивую француженку, которая пела там за двадцать пять франков в день. Мне понравился ее голосок и манера нения, и я уговорил хозяина «Эрмитажа» Рыжикова взять ее к нам. К сожалению, она не понравилась ему и он скоро ей отказал. А через три года он сам платил ей двадцать тысяч за

один гала-вечер в пользу каких-то благотворительных дел, который устраивала Кьяп — жена префекта Парижа. Это была знаменитая впоследствии Люсьен Буайе.

Пел Юрий Морфесси — все еще жизнерадостный, хотя и поседевший. Пела одно время Тамара Грузинская, приезжавшая из СССР, пела Плевицкая. Каждый вечер ее привозил и увозил на маленькой машине генерал Скоблин. Ничем особенным он не отличался. Довольно скромный и даже застенчивый, он скорее выглядел «забитым» мужем такой энергичной и волевой женщины, как Плевицкая. И тем более странной показалась нам его загадочная роль в таинственном исчезновении генералов Кутепова и Миллера. Это было и потому еще странно, что и с семьей Кутепова и с семьей Миллера Плевицкая и Скоблин очень дружили еще со времен Галиполи, где Плевицкая жила со своим мужем и часто выступала.

Среди танцоров «Эрмитажа», среди всех наших князей «на честное слово» был один настоящий князь — Николай Карагеоргиевич, двоюродный или троюродный брат сербского короля Александра. Он был красивый и неглупый молодой человек, уже скатившийся с верхних ступеней жизненной лестницы. Он получил образование в России, сербов не знал и родиной считал Россию. Эта любовь к моей Родине и сблизила нас. Он был беспутный, но очень добрый и благородный юноша, которого страсть к наркотикам довела до положения «жиголо». Иногда Николая «спасала» на время какая-нибудь женщина, полюбившая его. Он бросал морфий, но через полгода-год срывался снова, и все продолжалось по-старому. С ним бывали невероятные случаи. Два или три раза он был женат на миллионершах. В Сербии несколько раз подготовляли заговоры, чтобы посадить его на престол, назначались дни его отъезда туда, все было готово, чтобы начать «революцию». Но он неизменно «просыпал» эти моменты где-нибудь в кабаке — его не могли отыскать, и «революция» откладывалась до отрезвления короля, которое приходило иногда очень нескоро. Однажды зимой его подняли мертвым на улице и отвезли в морг. Служащие «Эрмитажа» собрали деньги на венок, и утром прочли в газете о часе и месте первой панихиды.

Вечером во время моего выступления открылась дверь, и «покойник», как ни в чем не бывало, вошел в зал. Я подавился словом песни и чуть не упал от испуга. Оркестр побросал инструменты. Оказалось, что его положили в морг — холодным и без признаков жизни. Ночью он пришел в себя.

— Просыпаюсь, — рассказывал он, — в каком-то месте и не могу понять, — где я? На мне белая простыня, вокруг лежат

какие-то люди и тоже спят. Я сел. Захотелось закурить. Папиросы нашел в кармане, а спичек нет. Я слез со своего «ложа», подошел к соседу, дернул за простыню.

— Дайте, говорю, спичку, пожалуйста.

Молчание. Я — к другому. Сел на цинковый стол и вдруг понял, что я в морге. Бросился к окну. Смотрю — открыто. Прыгнул в сад — и бегом! А навстречу журналисты, фотографы: «Не знаете, где тут князь Карагеоргиевич лежит?»

— А вот, говорю, в том флигеле, направо. И убежал.

Мы чуть с ума не сошли от его рассказа.

Умер он все-таки по-настоящему года через два в Ницце от того же морфия.

Памятные встречи

Артистическая богема была представлена в Париже очень ярко. Делилась она на профессионалов и любителей. В число профессионалов входили артисты оперы, балета и концертной эстрады, кроме того, была драматическая труппа, составленная из артистов МХТа, попавших за границу, известная под названием «Пражской труппы». Эта труппа одно время работала в Чехословакии, Болгарии и Сербии и субсидировалась даже чехословацким правительством. Затем труппа эта распалась. Часть артистов вернулась в СССР, часть разъехалась по другим странам.

В Париже эта труппа давала время от времени спектакли, которые охотно посещались публикой. Благодаря этим спектаклям мы смогли познакомиться с новейшими пьесами советских драматургов, о которых мы даже не имели представления. Мы видели «Чужого ребенка» Шкваркина и от души хохотали; видели «Дни Турбиных» Булгакова — пьесу, которая заставила задуматься над своим положением многих отвоевавших и уже никому не нужных людей. Видели «Квадратуру круга» Катаева, «Враги» Лавренева, «Заговор императрицы» Толстого и Щеголева и много других пьес. Для молодежи театр ставил Островского, и вообще он вел полезную работу среди эмиграции.

Опера была ярко представлена рядом больших спектаклей — то в большом театре «Шан-з-Элизе» с участием Федора Ивановича Шаляпина, то в других театрах. Несколько лет подряд большая оперная труппа под руководством Церетели гастролировала по всей Европе, пожиная заслуженные лавры и потрясая сердца испанцев, французов, англичан красотой нашей русской музыки. Благодаря этому иностранцы смогли лучше воспринять Мусоргского, Римского-Корсакова, Бородина, Чайковского, которые до этого звучали для них совершенно иначе в исполнении иностранных певцов.

Огромное место в артистической жизни Парижа занимал балет. Вначале существовало несколько балетных группировок. Потом ярко определилась лидирующая труппа, известная под названием «Балета Монте-Карло». Эта труппа в течение нескольких лет субсидировалась муниципальными властями Монте-Карло. В составе ее были такие силы, как Леонид Мясин, Жорж Баланчин, Войцеховский, Немчинова, Маргарита Фроман, сперва долго выступавшая в Королевском театре в Белграде, и ряд очень сильных молодых танцовщиков и балерин, подготовленных

уже в эмиграции такими педагогами, как Кшесинская, Николаева, Легат. Кшесинская создала изумительную Татьяну Рябушинскую, легкую, эфемерную, «Танцующий дух», как ее называла публика, «Вторую Тальони», как ее называла пресса. У Легата училась обаятельная Баронова, необыкновенно женственная и нежная Туманова. Появился очень яркий, характерный танцовщик Давид Лишин — гибкий и стройный, с лицом и прыжками юного фавна, талантливый Борис Князев и другие.

Кроме того, совершенно отдельно гастролировали часто со своими собственными труппами такие звезды, как Анна Павлова, Тамара Карсавина, Михаил Фокин, Вера Коралли, Александр и Клотильда Сахаровы. Их спектакли покоряли Европу. Я посещал их все. Хорошо помню премьеру «Балета Монте-Карло» в Париже, где мое место случайно оказалось рядом с Кшесинской и князем Гавриилом Константиновичем — ее мужем. Спектакль был подлинным праздником искусства, большой художественной радостью. Начиная от декораций и костюмов, написанных Пикассо, до музыки Равеля, Стравинского и Прокофьева, — все было необычайно. Когда на сцене появилась с Мясиным юная Рябушинская в классической пачке, с розовым венчиком на голове, точно сошедшая со старого медальона великая Тальони — легкая, бестелесная, неземная, — у меня захватило дыхание. От первых же ее движений зрители замерли. Она танцевала «Голубой Дунай». Когда она закончила и зал задрожал от аплодисментов, я обернулся. Кшесинская плакала, закрыв рот платком. Ее плечи содрогались. Я взял ее за руку.

— Что с вами?

— Ах, милый Вертинский… Ведь это же моя юность танцует! Моя жизнь. Мои ушедшие годы! Все, что я умела и чего не смогла, я вложила в эту девочку. Всю себя. Понимаете? У меня больше ничего не осталось.

В антракте за кулисами она сидела в кресле и гладила свою ученицу по голове. А Таня Рябушинская, присев на полу, целовала ей руки.

Многое могла бы рассказать эта женщина из своего необыкновенного прошлого. По по вполне понятным причинам никто и никогда о нем не спрашивал, не смея касаться еще незаживших ран.

— Вы правы, милый! — как-то сказала она на одном из моих концертов. — «Надо жить — не надо вспоминать!»

И крепко сжала мне руку.

С Анной Павловой я встретился в «Эрмитаже». После ее спектакля в том же театре «Шан-з-Элизе» она приехала со своим менаджером ужинать.

— Я приеду к вам в «Эрмитаж», дорогой, — сказала она за кулисами, — чтобы удовлетворить мой духовный голод — послушать вас — и мой физический тоже, потому что я голодна: я ничего не ем в день спектакля.

Спектакль оставил у меня грустное впечатление. Правда, народу было множество и принимали ее восторженно, но аплодировали уже явно за прошлое. Павлова была не та. Как ни больно, как ни грустно, но все мы, смертные люди — актеры, имеем свои сроки. Наши таланты, столь яркие порой, с годами гаснут, увядают, отцветают, как цветы. В этом большая трагедия актера. Правда, одно всегда остается с актером до конца его карьеры — это его мастерство. По разве может мастерство, то есть рассудочность, техника, школа, заменить ушедший темперамент, вдохновение, взлет, восторг, интуицию?!

Актер — это вообще счастливое сочетание тех или иных данных и способностей. Актер — это аккорд. И если хоть одна нота в этом аккорде не звучит — аккорда нет и не может быть. Стало быть, нет и актера. Если бы у Шаляпина, например, был бы толстый живот и короткие ноги, он никогда не достиг бы той вершины славы, которая у него была. Актер должен быть по возможности совершенен. Во всяком случае он должен обладать максимумом сценических данных. Когда актер стареет, у него стареет большей частью тело. Душа же часто остается такой же юной и горячей, как в дни его расцвета.

Из божественного аккорда сценических сочетаний великой Анны Павловой выпало несколько очень незаметных нот. Прежде всего — внешность. Она постарела, как бы усохла, ее фигура потеряла воздушность, «надземность». Это уже была скорее аскетическая фигура монахини, чем танцовщицы. Ее усталое, переработавшееся тело актрисы потеряло свою эластичность, свою невесомость и только привычно отзывалось на все посылы его обладательницы. Она как бы показывала, как нужно танцевать, но не танцевала. Кроме того, окруженная танцовщицами и танцовщиками, случайно подобранными на месте, не срепетированными и чужими, она очень проигрывала от своего ансамбля.

Я смотрел на сцену и вдруг вспомнил о полуувядшей камелии, которая плыла мимо меня по течению Сены, окруженная мусором, щепками. Это было однажды вечером, когда я стоял на набережной и любовался закатом. Было какое-то трагическое сходство между артисткой и этим цветком.

Мы ужинали втроем и сперва говорили о модных танцах.

— Это увлечение собственной походкой, — сказала

Павлова. — Я совершенно не понимаю их. И не умею их танцевать, — улыбаясь, добавила она. — А вы умеете? — неожиданно задала она вопрос.

Я умел и предложил ей потанцевать со мной. Мы выбрали танго и сошли на паркет. Она держалась прямо, по-балетному, и старательно повторяла мои движения. Внезапно я рассмеялся.

— Чего вы смеетесь? — улыбаясь, спросила она.

— Мне странно, что я учу Анну Павлову танцевать.

Она рассмеялась.

— Не правда ли, странно?..

Мы сели за стол и продолжали разговор. Говорили об Англии. Павлова рассказывала о своем доме в Лондоне, о своем парке, о пруде, о лебедях в нем, о газоне, который стригут два раза в неделю.

— Я мерзну в этой холодной и чужой стране, — тихо сказала она. — Все, не задумываясь, я отдала бы за маленькую дачку с нашей русской травой и березками где-нибудь под Москвой или Петроградом.

— Вы тоскуете по России? — тихо спросил я.

— Ужасно, мой друг, ужасно. До бессонницы, до слез, до головной боли, до отчаяния! Вот наслушалась вас, и опять — к своим англичанам. Вы меня надолго отравили вашими песнями. Но спасибо вам за них.

На другой день она уехала в Англию. Вскоре после этого пришло известие о ее смерти.

Однажды во время моих гастролей в Варшаве появились афиши Тамары Карсавиной. До этого я видел ее афиши в Берлине и в Вене, но она покидала эти города до моего приезда, и повидать ее я не успел. Немцы называли ее «Ди Карсавина». Так пишут имена только великих людей — имена, ставшие уже нарицательными.

В Варшаве на ее гастроли моментально были раскуплены все билеты. Приехала она с Петром Владимировым, знаменитым в свое время танцовщиком — партнером многих петербургских балетных звезд. И с ним, и с ней я был знаком еще по старому Петербургу, и наша встреча была особенно радостной.

Она была еще красива, но годы скитаний уже наложили следы на ее прекрасное лицо. Усталость чувствовалась в ее голосе и танцах. Я заметил это на первом же спектакле.

За кулисами, только что переодевшись в костюм «Умирающего лебедя», она встретила меня бурно и радостно:

— Ну, наконец, хоть одно родное лицо. Я так рада, милый, что вы здесь. Надоели мне чужие лица. Ни одного человека с

Родины!..

Она взяла меня за руки и, заглядывая в глаза, быстро заговорила:

— После спектакля вместе будем ужинать? Вы не уйдете? Пожалуйста. Вспомним Питер. А? Как жили! А теперь — ничего. Все потеряли… Ну идите, уже звонок…

В маленьком «Европейском» ресторане, устланном красными пушистыми коврами, мы сидели в углу за пальмами — я, она и Владимиров — и говорили без умолку. О родных театрах, об актерах, о спектаклях, о живых и мертвых друзьях. Вереницы полузабытых лиц прошли у нас перед глазами.

Иногда она брала мою руку и держала ее, рассказывая о чем-нибудь нежном и дорогом для нас обоих, точно боясь, что я уйду, не дослушав ее рассказа.

Тихо потрескивали зажженные канделябры. Я нарочно выбрал такой «старомодный» и нешумный ресторан, чтобы никто не мешал нам разговаривать.

Где-то далеко, в конце зала, тихо звенели гавайские гитары.

Я тихонько напел ей стихи, на которые только что написал музыку:

Над розовым морем вставала луна…

Карсавина молчала. Слезы струились по ее лицу.

— Как вы думаете, Саша, вернемся мы когда-нибудь на Родину?

Получив уже два раза отказ на мои просьбы о возвращении, я не верил в него. Но мне не хотелось ее огорчать.

— Если заслужим! — серьезно сказал я.

— А как заслужить?

— Надо доказать Родине свою любовь к ней!

— Доказать? Чем?

— Надо думать только о ней! Вставать и засыпать с ее именем па устах. Понимаете? И стараться даже в этих условиях, у чужих людей, прославлять и возвеличивать ее имя!

Мы замолчали.

— Мне бы только в театр! — сказала она. — В наш театр!.. Хоть костюмершей. Хоть кассиршей.

— А мне бы хоть капельдинером, — попробовал пошутить Владимиров.

Никто не улыбнулся.

Гасли свечи. Оркестр прятал инструменты. Рояль накрывали, как покойника, — чем-то черным.

Было невыразимо грустно. Я поцеловал ей руку, и мы

расстались.

На парижском балетном горизонте самой яркой фигурой был, конечно, Сергей Лифарь. Богато одаренный сценической внешностью, талантливый, высококультурный, он сразу завоевал себе признание. Его балетные постановки в «Гранд-Опера», где он был балетмейстером, всегда казались праздниками искусства. Он сгруппировал вокруг себя способную молодежь, учил ее, работая по шесть-восемь часов в день, и создал «французский балет». Работа Лифаря была высоко оценена правительством: он получил французское подданство и считался на государственной службе. Если не ошибаюсь, у него был даже орден Почетного легиона, как у Шаляпина. Его триумфальные гастроли по Европе часто субсидировались государством.

Меня познакомил с Лифарем Иван Мозжухин, и мы очень дружили, часто встречались. Сергей был начитан, образован, слыл пушкинианцем. Зарабатывая огромные деньги, он тратил их на покупку неопубликованных материалов о Пушкине, его писем, стихотворений, рисунков.

— Все это потом подарю Родине! — говорил он, показывая нам драгоценные рукописи.

Своим триумфом в других странах русский балет во многом обязан Дягилеву. Лифарь написал книгу «20 лет с Дягилевым», в которой шаг за шагом показал творческий путь этого интересного и смелого новатора. Книга была иллюстрирована рисунками лучших художников.

Лифарь любил искусство и бережно относился ко всему, что связано с ним. Как артист он был, пожалуй, ярче Фокина, даже ярче Нижинского. Его талант был, как пылающий факел. Каждое его выступление было чудо, горение. Унаследовав от матери цыганскую кровь, он унаследовал и цыганский темперамент. Этот темперамент, кстати, был причиной многих недоразумений в его жизни. Однажды на парадном спектакле в парижской «Гранд-Опера» он отказался танцевать потому, что не поставили декорации, которые ему были нужны. На спектакле присутствовал президент республики, весь интерес был сосредоточен на выступлении Лифаря. Директор театра, торопясь начать спектакль, предложил танцевать в сукнах. Лифарь категорически отказался. Тогда директор объявил об этом со сцены. Получился скандал. Лифарю грозила отставка. На другой день его вызвали к президенту.

— Почему вы отказались выступать? — спросил президент.

— Я слишком люблю и ценю свое искусство, чтобы унижать его такими халтурными выступлениями, на которые меня

толкали.

— Но ваше выступление стояло в программе. На спектакле присутствовал весь дипломатический корпус. В какое положение вы поставили дирекцию?!

— Я готов понести за это любое наказание, — упрямо отвечал Лифарь и протянул президенту прошение об отставке.

— Что же вы намерены делать, если я приму ваше прошение? — спросил президент.

— Я буду работать шофером такси!

Президент улыбнулся. Прошение не было принято, а директору «Гранд-Опера» объявили выговор.

Сергей Лифарь был прекрасным собеседником, любил общество друзей и товарищей. Он прекрасно играл на гитаре, знал старинные, уже забытые цыганские песни и мастерски пел их, держал в памяти особые староцыганские аккорды, которыми аккомпанировали когда-то Варе Паниной ее братья.

Большой актер

Незабываемые вечера проводили мы с Иваном Мозжухиным в обществе Лифаря. Иногда с нами объединялся Федор Иванович Шаляпин, и тогда наши дружеские беседы тянулись до утра — не было сил расстаться. Как пел и плясал по-цыгански Лифарь! Как рассказывал Шаляпин! Как смешил Иван Мозжухин, показывая немое кино и вспоминая всякие уморительные эпизоды!

Моя дружба с Иваном Мозжухиным началась еще в России. Мы познакомились с ним на кинофабрике Ханжонкова в Москве до войны. Кинематография тогда была в самом зачаточном состоянии, и актеры относились к ней презрительно, не считая кино искусством. Большие актеры не хотели играть в кино, а маленькие шли только из-за денег. Действительно, в те годы кино ничего не говорило ни уму, ни сердцу. В конце концов все сводилось к позированию перед аппаратом, причем главную роль играл не талант актера, а его фотогеничность. Поэтому в кино попадали люди, ничего общего со сценой не имеющие.

Я был тогда никому не известным юношей, а Иван Мозжухин — актером Московского народного дома.

В Париж он приехал с труппой Ермольева из Ялты, где снимался во время гражданской войны, и сразу занял первое положение в фильмовом мире. В то время у французов кинематография была развита очень слабо, крупных артистических величин не было, вероятно, по тем же причинам бойкота кино артистами сцены. Мозжухин же был тогда несомненно лучшим актером кино. Ермольев работал с братьями Пате, и его знали в Париже. Поэтому всю свою труппу, вывезенную из России, Ермольев влил в производство Пате. Русские актеры понравились. Французы сразу полюбили Мозжухина. За несколько лет он достиг необычайного успеха. Картины с участием Мозжухина делали полные сборы.

Наша встреча с ним в Париже была очень дружеской. Мы искренне обрадовались друг другу и уже не расставались все годы эмиграции.

Мозжухин питал ко мне особую слабость. Может быть потому, что в годы нашей юности я нравился ему. Был я тогда футуристом — ходил по Кузнецкому с деревянной ложкой в петлице, с разрисованным лицом, «презирал» все старое, с необычайной легкостью проповедовал абсурдные теории, искренне считая себя новатором.

Благодаря Мозжухину я невольно втянулся в фильмовые круги Парижа. В свободное от концертов время снимался вместе с

ним то в Париже, то в Ницце.

Тысячи людей прошли перед моими глазами. Однажды в Ницце во время съемки ко мне подошел невысокого роста человек, одетый в турецкий костюм и чалму (снималась картина «Тысяча и одна ночь»).

— Узнаете меня? — спросил он.

Если бы это был даже мой родной брат, то, конечно, в таком наряде и гриме я бы все равно его не узнал.

— Нет!

— Я — Шкуро. Генерал Шкуро.

В одну секунду в памяти всплыл Екатеринодар. Белые армии отступают к Крыму. Концерт, один из последних концертов, на родине. Он уже окончен. Я разгримировываюсь, сидя перед зеркалом. В дверях появляются два офицера в белых черкесках.

— Его превосходительство генерал Шкуро просит вас пожаловать к нему откушать после концерта!

Отказываться нельзя. Я прошу обождать. У подъезда штабная машина. Через пять минут вхожу в освещенный зал.

За большими накрытыми столами — офицеры. Трубачи играют встречу. Из-за стола поднимается невысокий человек с красным лицом и серыми глазами.

— Господа офицеры! Внимание! Александр Вертинский!

Меня сажают за стол генерала. Начинается разговор. О песнях, о «том, что я должен сказать», о красных, о белых…

Какая даль! Какое прошлое!

Много крови пролил этот маленький человек. Понял ли он это хоть теперь? Как спится ему? Как можется?..

Я молчал. Экзотический грим восточного вельможи скрывал выражение моего лица. Но все же Шкуро почувствовал мое настроение и нахмурился.

— Надо уметь проигрывать тоже, — точно оправдываясь, протянул он, глядя куда-то в пространство.

Свисток режиссера прервал наш разговор. Я резко повернулся и пошел на «плато». Белым мертвым светом вспыхнули осветительные лампы, почти не видные при свете солнца. Смуглые рабы уже несли меня на носилках.

Шкуро тоже позвали. Он быстро шел к своей лошади, на ходу затягивая кушак. Всадники строились в ряды…

«Из премьеров — в статисты, — подумал я. — Из грозных генералов — в бутафорские солдатики кино. Воистину — «судьба играет человеком».

Теперь мне хочется вернуться назад, чтобы рассказать забавную историю. Это было в Москве в 1912–1913 году. Вскоре после смерти Л. Н. Толстого его сын Илья Львович задумал

представить на экране кинематографа один из рассказов Льва Николаевича — «Чем люди живы». В рассказе, как известно, говорится об ангеле, изгнанном небом и попавшем в семью бедного сапожника. Илья Толстой ставил картину сам, и но его замыслу действие должно было происходить в Ясной Поляне. Средства нашлись, актеров пригласили, задержка была только за одной ролью — самого ангела. Оказалось, что эту роль никто не хотел играть, потому что ангел должен был по ходу картины упасть в настоящий снег к тому же совершенно голым. А зима была суровая. Стоял декабрь.

За обедом у Ханжонкова Илья Толстой предложил эту роль Мозжухину, но тот со смехом отказался.

— Во-первых, во мне нет ничего «ангельского», а во-вторых — меня не устраивает получить воспаление легких, — ответил он.

Толстой предложил роль мне. Из молодечества и чтобы задеть Ивана, я согласился. Актеры смотрели на меня как на сумасшедшего. Их шуткам не было конца, но я презрительно отмалчивался, изображая из себя героя.

Вечером мы уехали в Ясную Поляну. Утром на вокзале нас встретили сани-розвальни, на которых привезли и меховые шубы. В имении уже все было приготовлено для съемки, и мы, попив чаю с Софьей Андреевной, которую эта затея очень интересовала, отправились в поле, где должна была происходить съемка.

Я загримировался ангелом, надел парик с золотыми локонами и, раздевшись в маленькой карете догола, выпил полбутылки коньяку. Потом влез на крышу амбара и прыгнул оттуда в снег, спиной к аппарату. Прыгнув, я осмотрелся кругом (по роли!) и пошел по дороге вдаль.

Хорошо, что эту сцену снимали только один раз. Съемка заняла минут пять, но тело мое стало совершенно стеклянным от холода. Я окоченел. Меня положили в карету, укутали в шубы и вскачь повезли в деревню. В крестьянской избе оттирали снегом и отпаивали коньяком. Какая-то старуха лет семидесяти горько плакала надо мною, сокрушаясь и жалостливо причитая:

— И… бедненький… Как же ты так допился, сердешный?.. Кто же тебя ограбил, родименький? Догола раздели… Совести у людей нет!..

Ее не разубеждали.

Меня положили на полати, я выспался и к обеду, как ни в чем не бывало, сидел за столом с Софьей Андреевной, слушая ее рассказы о Льве Николаевиче.

— Как же вы решились на такую отчаянную роль? — с ужасом спрашивала она.

Утром я уехал. В Москве меня окружили журналисты,

подробно расспрашивая о поездке. Я расписал ее, не жалея красок.

— Сколько же вы получили за эту роль? — спрашивали они.

— Мало! Всего сто рублей. Дурак был! — деловито заключил я.

На другой день в газетах было напечатано подробное описание этого события. «Почему же так мало?» — спросили мы Вертинского. «Дурак был», — отвечал наш собеседник. Мы не стали спорить с талантливым артистом и поспешили откланяться…»

Иван издевался надо мной после этой истории полгода.

Кино, быстро входившее в жизнь, интересовало всех. Актеры кино были более популярны, чем короли или президенты. Их узнавали всюду и все — от швейцаров и приказчиков магазинов до людей самого высокого общественного положения. Все двери открывались перед нами, все лица расплывались в улыбке при встречах. Знакомства заводились самые неожиданные. Утром на съемке мы знакомились, например, с профессором Эйнштейном, а вечером обедали с негритянской опереточной дивой Жозефиной Бекер или Дугласом Фербенксом.

Газетный магнат Херст звал нас к себе на яхту в Канны, восточный магараджа Омар Капуртала привозил нам на съемки коньяк, завтракал с нами, чтобы посмотреть, как мы играем какого-нибудь «Мишеля Строгова» или «Казанову».

Как-то на Кот д'Азюр в отеле «Негреско», где мы остановились с Мозжухиным, вечером в ресторане мы обратили внимание на скучавшего господина, который через своего приятеля выразил желание познакомиться с нами. Это был будущий румынский король Кароль, только что изгнанный своим отцом из Румынии за связь со знаменитой мадам Лупеску. Он жил за счет одного румынского банкира, субсидировавшего своего будущего монарха в ожидании предполагаемых благ. Кароль скучал и мечтал о возвращении в Румынию. Мы развлекали его в свободное время анекдотами, приглашали на свои интимные актерские «посиделки».

Иван любил королей. Особенно безработных. Из колоды европейской политической игры в то время было выброшено немало «фигур». Все эти «отыгранные короли», «королевы», «тузы» и «валеты» жили в Европе в ожидании, что народы «опомнятся» и позовут обратно своих «обожаемых монархов». Но народы молчали. Короли грустили и писали душераздирающие мемуары. Вскоре Кароль улетел в Румынию, где правительство Маниу посадило его на отцовский престол. Ненадолго, правда.

Карьера Ивана Мозжухина была поистине блестящей. Успех, популярность, которые выпали на его долю, редко достаются актерам. И все это он как-то не ценил.

Я до сих пор не знаю, любил ли он свое искусство. Думаю, что нет. Во всяком случае он тяготился съемками, и даже на премьеру его картин Мозжухина нельзя было уговорить пойти.

Живой, любознательный, необычайно общительный, веселый, остроумный, он покорял всех. Даже своих врагов, которых у него, как у каждого выдающегося артиста, было достаточно. Иван умел пятиминутным разговором «купить» человека, даже самого враждебного к нему. Он был щедр, очень гостеприимен, радушен и даже расточителен. Он как бы не замечал денег. Любил компанию, в частых кутежах платил за всех. Жил большей частью в отелях, и когда у него собирались приятели и из магазинов присылали закуски, ножа или вилки, например, у него никогда не было. Сардины вытаскивали из коробки крючком для застегивания ботинок, а салат накладывали рожком от тех же ботинок. Вино и коньяк пили из стакана для полоскания зубов. Купить хоть одну тарелку, нож и вилку ему не приходило в голову. Он был неисправимой «богемой», и никакие мои советы и уговоры на него не действовали.

Иван буквально «сжигал» свою жизнь, точно предчувствуя ее кратковременность. Вино, женщины и друзья — вот главное, что его интересовало. Потом книги. К остальному он был равнодушен. Он никого не любил. Может быть, только меня немного, и то очень по-своему. У нас было много общего в характере, и в то же время мы были совершенно различны. «Ты мой самый дорогой, самый любимый враг!» — полушутя-полусерьезно говорил он.

Из Парижа Мозжухин попал в Америку. В Голливуде, где «скупали» знаменитостей Европы, как товар, им занимались мало. Американцам важно было «снять» с фильмового рынка «звезду», чтобы пустить туда свои картины. Так они забрали всех лучших актеров Европы и сознательно «портили» их, проваливая у публики.

Попав в Голливуд, актеры незаметно «сходили на нет». Рынок заполняли только американские «звезды».

Когда Иван приехал в Голливуд, его выпустили в двух-трех неудачных картинах. Американская публика, которая имеет привычку переносить на актера все личные качества лиц, роли которых он играет, не взлюбила его. Он вернулся в Европу. Здесь еще играл несколько лет — то во Франции, то в Германии, но его карьера уже шла к закату.

Несколько попыток сыграть в говорящем кино не увенчались успехом: голос его не был фоногеничен. Кроме того, от слишком «широкой» жизни на лице появились следы, спрятать которые уже не мог никакой грим. Иван старел. К тому же он был актером старой школы, и американские актеры забивали его своей нарочитой простотой и естественностью. Новая школа заключалась в том, чтобы не играть кого-то, а быть им. А этого он не мог усвоить.

К говорящему кино Мозжухин пылал ненавистью, которую не скрывал. Я расстался с ним в 1934 году, уехав в концертное турне по Америке. Расстались мы очень холодно, поссорившись из-за пустяка. Больше я его не видел.

Я очень любил Мозжухина, несмотря на все его недостатки и странности. Прожив с ним много лет вместе, я очень привязался к нему. Из длинной вереницы друзей, приятелей и знакомых он был для меня самый близкий, самый дорогой человек.

Однажды Иван играл Кина. Играл превосходно. Эта роль подходила ему, как никакая другая. Он словно играл самого себя — свою жизнь. Жизнь гениального и беспутного английского актера до мелочей напоминала его собственную. В последнем акте Кин умирал на широкой белой постели. За окнами его комнаты бушевал ветер. Старый суфлер — единственный друг — сидел у его ног на кровати. Жизнь постепенно покидала Кина.

— Дай мне это место из «Гамлета», — говорит он.

И старый суфлер, перелистывая книгу, тихо шепчет ему предсмертные слова датского принца:

Что это? Возвращенье Фортинбраса?
Судьба ему передает корону!
Горацио, ты все ему расскажешь! —

говорит умирающий Кин и навеки закрывает глаза.

Старый суфлер плачет. Слезы неудержимо бегут по его лицу. Он встает.

— Господа! — говорит он. — Первый актер Англии, великий Кин, скончался…

Я был в Шанхае, когда пришло сильно запоздалое известие о том, что у Мозжухина скоротечная чахотка, что он лежит в «бесплатной» больнице — без сил, без средств, без друзей…

Я собрал всех своих товарищей — шанхайских актеров, и мы устроили в «Аркадии» вечер, чтобы собрать Мозжухину деньги на лечение и переслать их в Париж. Шанхайская публика тепло отозвалась на мой призыв. Зал «Аркадии» был переполнен. В разгаре бала, в час ночи, из редакции газеты нам сообщили:

— Мозжухин скончался.

Продолжать программу я уже не мог. Меня душили слезы.

Я вышел на сцену и, поблагодарив публику, сообщил ей эту весть, как суфлер из его картины.

Умирал Иван в Нейи — в Париже. Ни одного из его бесчисленных друзей и поклонников не было возле него. Пришли только цыгане, бродячие русские цыгане, певшие на Монпарнасе.

Федор Шаляпин

С Федором Ивановичем Шаляпиным я не был лично знаком в России. Во времена его расцвета я был еще юношей, а когда стал актером, то встретиться не пришлось: мое пребывание на российской сцене длилось меньше трех лет.

В 1920 году я был уже за границей, где и проходила моя дальнейшая театральная карьера. В 1927 году я приехал в Париж. Была весна. На бульварах цвели каштаны, на Пляс де ля Конкорд серебряными струями били фонтаны. Бойкие и веселые цветочницы предлагали букетики пармских фиалок. Огромные толпы фланирующих парижан заполняли тротуары и террасы кафе. Гирлянды уличных фонарей только что вспыхнули бледновато-голубым светом. Сиреневое облако газолинового угара и острый запах духов стояли в воздухе.

Каждая страна имеет свой особый запах, который вы ощущаете сразу при въезде в нее. Англия, например, пахнет дымом, каменным углем и лавандой. Америка — газолином и жженой резиной, Германия — сигарами и пивом, Испания — чесноком и розами, Япония — копченой рыбой… Запах этот запоминается навсегда, и когда хочешь вспомнить страну, вспоминаешь ее запах… И только наша Родина, необъятная и далекая, оставила на всю жизнь тысячи ароматов своих лугов, полей, лесов и степей…

Я сидел на террасе кафе Фукье и любовался городом. Люди шумели за столиками. Неожиданно все головы повернулись вправо. Из большой американской машины выходил высокий человек в светло-сером костюме. Он шел по тротуару, направляясь в кафе. Толпа сразу узнала его.

— Шаляпин! Шаляпин! — пронеслось по столикам.

Он стоял на фоне заката — огромный, великолепный, ни на кого не похожий, на две головы выше толпы, и, улыбаясь, разговаривал с кем-то. Его обступили — всем хотелось пожать ему руку. Меня охватило чувство гордости. «Только Россия может создавать таких колоссов, — подумал я. — Он — точно памятник самому себе…»

Мне тоже захотелось подойти к Шаляпину и заговорить. Я выждал время, подошел, представился, и с того дня, почти до самой его смерти, мы были друзьями.

Выступления Шаляпина в Париже обставлялись оперной дирекцией с небывалой роскошью. Чтобы придать его гастролям национальный характер, была создана «Русская опера». Оркестр и хор специально выписали из Риги, декорации писали лучшие

русские художники, находившиеся в то время за границей. Со всей Европы были собраны лучшие оперные и балетные артисты и дирижеры.

Первым шел «Борис Годунов». Каким успехом, какими овациями сопровождались выступления Федора Ивановича! Они бушевали с того момента, когда Годунов впервые появляется на сцене, выходя из собора, ведомый под руки боярами и знатью, — огромный, величественный, в драгоценном парчовом кафтане, суровый и властный, мудрый и уже усталый, знающий цену власти и людской преданности.

Публика была покорена и зачарована. И все время, пока звучала музыка Мусоргского, пока на сцене развертывалась во всей своей глубине трагедия мятежной души, огромная аудитория театра, затаив дыхание, следила за каждым движением гениального актера.

Как он пел! Как страшен и жалок был он в сцене с призраком убитого царевича! Какой глубокой тоской и мукой звучали его слова:

— Скорбит душа!..

И когда в последнем акте он умирал, заживо отпеваемый церковным хором под звон колоколов, публика дрожала. Волнение и слезы душили зрителей. Люди привставали со своих мест, чтобы лучше видеть, слышать.

Он умирал — огромный, все еще страшный, все еще великолепный, как смертельно раненный зверь. И публика рыдала, ловя его последние слова…

На авеню д'Эйла у Шаляпина был собственный дом. Три этажа квартир сдавались, а в четвертом жил он сам.

Шаляпин очень гордился своим домом. Прямо при входе в гостиную висел его большой портрет — в шубе нараспашку, в меховой шапке — работы Кустодиева. В комнатах было много ковров и фотографий. В большой светлой столовой обычно после спектакля ждал накрытый стол. Федор Иванович неизменно угощал нас салатом с диковинным названием: «рататуй». Что значило это слово — никто не знал. Он любил волжско-камские словечки.

Его сыновья — Борис и Федор — редко бывали с нами. У них была своя жизнь. Борис был художником, а Федор увлекался кино и мечтал о Голливуде. Дочери уже повыходили замуж и жили отдельно, и только самая младшая — Дася — жила с отцом и матерью. Она была любимицей отца.

Шаляпин любил семью и ничего не жалел для нее. Как-то вышло так, что почти все его дети не зарабатывали

самостоятельно, не были устроены, и Федору Ивановичу приходилось помогать им. А семья была немалая — десять детей. Он работал для семьи. Три раза составлял состояние. Первый раз — в царской России — все оно осталось там после его отъезда. Второй раз — за границей. Он составлял его около десяти лет и был уже почти у цели.

— Еще год-два попою и брошу, — говорил он мне.

Он работал, не щадя сил. Гонорары его в то время были велики. Как-то, возвратившись из Америки, он со смехом рассказывал нам о забавном эпизоде, происшедшем с ним, кажется, в Чикаго. Один из местных миллионеров устраивал у себя в саду большой прием, на который были приглашены самые видные и богатые лица. Желая доставить гостям удовольствие, миллионер решил пригласить Шаляпина. Заехав к нему в отель, он, познакомившись, осведомился о цене. Шаляпин запросил за выступление десять тысяч долларов. Миллионера возмутила эта цифра: десять тысяч за два-три романса! Но чтобы задеть и унизить Шаляпина, он заявил:

— Хорошо, я заплачу вам эту сумму, но в таком случае не смогу пригласить вас к себе в дом наравне с другими. Вы не будете моим гостем и не сможете сидеть за столом. Вы будете петь в кустах…

В назначенный вечер Шаляпин нарочно приехал в самом скромном и старом костюме (все равно никто не увидит) и пел как ни в чем не бывало — деньги с миллионера получил вперед.

Иногда Федор Иванович начинал мечтать вслух:

— Вот… землицу я купил в Тироле. Хорошо! Климат чудесный. Лес, горы. На Россию похоже. Построю дом с колоннами, «дворянский». И баню, обязательно баню. Распарюсь — и в снег!.. А снегу там много будет. Ты с Иваном ко мне приедешь отдыхать, ладно? И бар у меня будет…

У него была вилла в Сен Жан де-Люс во Франции, но он не любил ее, его тянуло к родным берегам Волги, и он искал в Европе место, которое по виду и климату напоминало бы ему Россию.

Почти все свои деньги он держал в американских бумагах. Его состояние было огромно. Но в один день, очень памятный для многих, случился крах. Это была знаменитая «черная пятница» на нью-йоркской бирже. В тот день многие из миллионеров стали нищими. Потерпел крах и Шаляпин. Потерял он так много, что пришлось сызнова составлять состояние, чтобы обеспечить семью. Он начал в третий раз упорно работать.

Но годы брали свое. Федор Иванович устал. Сборы были уже не те, что прежде, и он пел подряд в любой стране, собирая все,

что осталось для него. Только этим и объяснялся его приезд в Шанхай и Харбин.

Нельзя сказать, что Шаляпин любил деньги, но в нем наряду с настоящей широтой натуры прекрасно уживалось простое народное уважение к трудовой копейке. Это был хозяин, глава семьи, строгий и справедливый, знавший цену деньгам.

Однажды мы сидели с ним в Праге, в кабачке у Куманова после его концерта. С нами было несколько журналистов. После ужина Шаляпин взял карандаш и начал рисовать прямо на скатерти. Когда все расплатились и пошли, хозяйка догнала нас уже на улице. Не зная, с кем имеет дело, она набросилась на Шаляпина.

— Вы испортили мне скатерть! Заплатите за нее десять крон…

— Хорошо, — сказал он. — Я заплачу десять крон, но скатерть эту возьму с собой.

Хозяйка принесла скатерть и получила деньги. Но пока мы ждали машину, ей уже все объяснили.

— Дура, — сказал один из ее приятелей. — Ты бы вставила эту скатерть в раму под стекло и повесила в зале как доказательство того, что у тебя был Шаляпин. И все бы ходили к тебе смотреть на нее.

Хозяйка поняла свою ошибку. Она вернулась к нам и протянула с извинением десять крон, прося скатерть обратно.

Шаляпин покачал головой:

— Простите, мадам. Скатерть моя. Я купил ее у вас. А теперь, если вам угодно, получите ее обратно, — пятьдесят крон…

Хозяйка безмолвно заплатила деньги.

Я не мог понять, что заставило Шаляпина, столь любимого народом, столь ценимого правительством, получившего звание первого народного артиста республики, покинуть Родину. Много дней и вечеров провел я в обществе Федора Ивановича. Многие темы и вопросы затрагивались в наших частых дружеских беседах. Но никогда за нашу десятилетнюю дружбу он не раскрыл до конца передо мной или Иваном Мозжухиным своей души и не объяснил нам ясно причины своего поступка.

Родину он любил. В этом не могло быть никаких сомнений. Любил той крепкой, нерушимой любовью, которой может любить ее только тот, кто плоть от плоти, кровь от крови сын своего народа, чье существование до глубочайших корней связано с русской землей. В его яркой незабываемой личности воплотились гениальность, мощь, величие русского народа — того народа, который сегодня, как маяк надежды и жизни, светит всему миру.

Только Россия могла родить такого гения! Только такой народ! Но как же мог он покинуть Родину?

В беседах с друзьями, в обществе Шаляпин не любил говорить на эту тему, и мне всегда казалось, что он боится говорить об этом потому, что сам не уверен в правоте и смысле своего поступка. Его мемуары «Маска и душа» — книга, которую он подарил мне, — не объяснили истинной причины его ухода из России, хотя и проливают па это некоторый свет.

Кумир дореволюционной молодежи, друг Горького, любимец передовой интеллигенции того времени, вышедший из самых недр великого русского народа, поднятый этим народом на самую вершину славы, он был близок революции. И все же не узнал ее лица. И может быть, лишения, испытания, которые выпали в ту пору на долю каждого, как бы ошеломили, разочаровали Шаляпина. Его характер, твердый и устойчивый, его самолюбие актера-диктатора, его непререкаемый авторитет в искусстве не смогли и не хотели подчиниться духу нового времени.

«Шекспира понимаю, а тебя, подлеца, понять не могу!..»— в бешенстве кричал он какому-то споривщему с ним человеку из породы его «надоедателей». Но «не понимать»— еще не значит быть правым. И этого оправдания самому себе Федор Иванович так и не нашел в своих воспоминаниях, хотя вся его книга посвящена поискам этого оправдания. И все же, повторяю, Россию он любил горячо и нежно, настоящей сыновней любовью.

«Я сознавал, — пишет он в мемуарах, — что уехать отсюда, значит — покинуть Родину навсегда. Как же мне оставить такую Родину, в которой я сковал себе не только то, что можно видеть и осязать, слышать и обонять, но и где я мечтал мечты?..»

«В дни моей петербургской жизни я тосковал о свободной и независимой жизни… Я получил ее. Но часто, часто мои мысли несутся к моей милой Родине!..» — восклицает он в своих мемуарах.

«Моя мечта неразрывно связана с Россией, с русской талантливой и чуткой молодежью…» — говорит он далее.

«Милая моя, родная Россия!»

Я думаю что даже этих нескольких выписанных мною фраз достаточно, чтобы видеть, что Шаляпин любил Россию. А таких признаний в его книге множество. Не нам, оказавшимся на чужбине, судить этого величайшего, неповторимого артиста, который, как драгоценный камень, сиял в короне русского искусства, и если я пытаюсь объяснить причину его «ухода», то только потому, что в личных встречах с ним, в наших разговорах и спорах я всегда инстинктивно чувствовал, как сожалел он в душе о том, что оставил Россию, какое недоумение, тоску и

душевную боль вызывали в нем разговоры о России, как мучили они его.

«Всю свою жизнь я прожил в театре и для театра. И теперь я задаю себе вопрос:

— Где же мой театр?

И убеждаюсь, что он там, в России..!»

Так заключает Федор Иванович свои воспоминания.

Я мог бы написать целую книгу о его триумфах повсюду, свидетелем которых я был много раз, разъезжая по свету, часто встречаясь с ним в разных странах.

Без преувеличения можно сказать — ни один артист в мире не имел такого абсолютного признания, как Шаляпин. Все склонялись перед ним. Его имя горело яркой звездой. Тех почестей, тех восторгов, которые выпали на его долю, не имел никто. И только один раз за всю свою жизнь, уже в самом конце ее, за год или два до смерти, в Шанхае, он смог убедиться в том, чего раньше ему не приходилось знать, — в человеческой неблагодарности, злобе, зависти и бессердечности толпы, той толпы, которая, как зверь, лежала у его ног столько лет, покоренная им.

В Шанхай Шаляпин приехал из Америки в 1935 году. На пристани его встречала толпа. Местная богема, представители прессы, фотографы. В руках у публики были огромные плакаты: «Привет Шаляпину!».

Журналисты окружили его целым роем. Аппараты щелкали безостановочно. Какие-то люди снимались у его ног, прижимая лица чуть ли не к его ботинкам. Местные колбасники слали ему жирные окорока, владельцы водочных заводов — целые ведра водки. Длиннейшие интервью с ним заполняли страницы местных газет…

Он приехал с женой и дочерью, с менаджером, пианистом и секретарем. Интервьюировали не только его, но и всех его окружающих. Даже, кажется, его бульдога. Просили на память автографы, карточки…

Приехал Федор Иванович больным и сильно утомленным, как и всякий артист в конце своей карьеры. Естественно, что это был не тот Шаляпин, которого знали те, кто слышал его в России. Но это был Шаляпин!

За одно то, что он приехал, надо было быть благодарным ему.

Обыватели ждали, что он будет своим басом тушить свечи, они принесли с собой в театр вату — затыкать уши, чтобы предохранить барабанные перепонки от силы его голоса. И вдруг — разочарование!

— Поет самым спокойным голосом и даже иногда тихо…

— И за что только такие деньги берут?!

— А сборы какие?!

Роптали, но повышать голос боялись. Неудобно. Еще за дураков посчитают.

У местных благотворителей разыгрывался аппетит.

Однажды к нему явилась делегация с просьбой спеть бесплатно концерт, а весь сбор отдать им. Шаляпин отказал. Артист, подписавший договор с антрепренером, не мог петь бесплатно. А расходы антрепренера? А пароходные билеты из Америки на шесть человек? А отели, а реклама театра, а все остальное? Но их это не интересовало. Им нужно было «рвануть сумму», а такой случай не часто бывает.

Вот тут-то и началось.

Верноподданные газеты, расстилавшие свои простыни перед его ногами, подняли невообразимую ругань. Целые ушаты помоев выливались ежедневно на его седеющую голову.

Около театра, на улице, прохожим раздавали летучки с заголовками:

«Русские люди!
Шаляпин — враг эмиграции!
Ни одного человека на его концерт!
Бойкотируйте Шаляпина!
Ни одного цента Шаляпину!»

Не знаю, читал ли эту летучку Федор Иванович, но на другой день он уехал.

Так «вымазал дегтем» его подножие «русский» Шанхай.

За день до отъезда Федора Ивановича я сидел у него в Катей-Отеле. Была ранняя весна. В открытые окна с Вампу тянуло теплым ласковым ветерком. Было часов семь вечера. Кое-где на Банде уже зажигались огни. Шаляпин был болен. Он хрипло кашлял и кутал горло в теплый шерстяной шарф. Большой, растрепанный и усталый, он полулежал в кресле и тихо говорил:

— Ты помнишь у Ахматовой?

Иди один и исцеляй слепых,
Чтобы узнать в тяжелый час сомненья
Учеников злорадное глумленье
И равнодушие толпы!..

Своим обликом, позой он был похож на умирающего льва. Острая жалость к нему и боль пронзили мое сердце. Я будто

чувствовал, что больше никогда его не увижу…

Париж — город заветных желаний очень многих, как Голливуд — мечта будущих актрис и актеров. Поэтому сюда со всех концов мира съезжались художники и артисты в надежде сделать карьеру или учиться. Но только очень немногие обращали на себя внимание публики. Париж трудно удивить чем-нибудь.

— На моей памяти, — говорил мне старый бельгиец художник Ван-Донжен, — Париж «ахнул» только два раза: один раз, когда сюда привезли японские лаковые коробочки, и другой, когда из России привезли полотна Врубеля.

Русских художников в Париже было не так много. Был Константин Коровин, Борис Григорьев, Василий Шухаев, Александр Яковлев, приезжали Бенуа, Судейкин и Сомов. Григорьев выпустил книгу гравюр под названием «Рассея». Эта монография имела большой успех. В ней он мастерски изобразил иконописные древние лица русских стариков и старух, богомольцев, нищих и странников.

Александр Яковлев был приглашен дирекцией знаменитой автомобильной фирмы «Ситроен», организовавшей экспедицию-пробег в Африку. Его путевые альбомы и зарисовки показывали потом на выставке экспедиции, устроенной фирмой в Париже. Александр Бенуа оформил несколько балетных и оперных постановок. Константин Коровин — тоже. Последние несколько лет Коровин, между прочим, довольно удачно писал воспоминания. Этот его новый дар вызвал даже некоторую зависть у Шаляпина, результатом чего и явилась его книга «Маска и душа».

Белокурый англичанин

Однажды в «Казбеке» — кабачке на Монмартре, где я выступал, неожиданно в дверях показался молодой белокурый англичанин, немного подвыпивший, веселый, улыбающийся. Следом за ним вошли еще двое. Усевшись за столик, они заказали шампанское. Публика уже разошлась, и англичане были единственными гостями. Однако по кабацкому закону — «каждый гость дарован богом» — всю артистическую программу нужно было сначала и до конца показывать этому единственному столику. Меня взяла досада. Тем не менее, по обязанности я улыбался, отвечая на расспросы белокурого гостя. Говорил он по-французски с ужасным английским акцентом и одет был совершенно дико, очевидно из озорства, — на нем был серый свитер и поверх него… смокинг.

Музыканты старались — гость был, по-видимому, богатый, потому что сразу послал оркестру полдюжины бутылок шампанского.

— Что вам сыграть, сэр? — спрашивал его скрипач-румын.

Гость задумался.

— Хочу одну русскую вещь, — нерешительно сказал он. — Только я забыл ее название… Там-там, там-там…

Он стал напевать мелодию. Я прислушался. Это была мелодия моего танго «Магнолия».

Угадав ее, музыканты стали играть.

Мой стол находился рядом с англичанином. Когда до меня дошла очередь выступать, я спел ему эту вещь.

Англичанин заставил меня бисировать. После выступления, когда я сел на свое место, он перешел за мой стол и, выражая свои восторги, между прочим, сказал:

— Знаете, у меня в Лондоне есть одна знакомая русская дама, леди Детердинг. Вы не знаете ее? Так вот. Эта дама имеет много пластинок одного русского артиста, — он произнес мою фамилию, исковеркав ее до неузнаваемости. — Она недавно подарила мне пластинки с его песнями. Вот почему я и просил вас спеть знакомую мне вещь.

Я улыбнулся и протянул ему свою визитную карточку. Его изумлению не было границ.

— Я подумал, что вы поете в России! — воскликнул он. — Я никогда не думал встретить вас в таком месте.

Я терпеливо объяснил ему, почему я не пою в России, почему пою в таком месте…

Мы разговорились. Прощаясь, англичанин пригласил меня на

следующий день обедать в самом фешенебельном ресторане Парижа — «Сирос».

Ровно в девять часов, как было условлено, я входил в вестибюль ресторана. Метрдотель Альберт, улыбаясь, шел мне навстречу.

— Вы один, мсье Вертинский? — спросил он.

— Нет! Я приглашен…

— Чей стол? — заглядывая в блокнот, поинтересовался он.

Я замялся. Мне было как-то неудобно спросить у англичанина его фамилию.

«Мой стол будет у камина», — вспомнил я его последние слова.

Я сказал об этом Альберту. Метрдотель строго покачал головой:

— У камина не может быть.

— Почему?

— Этот стол резервирован на всю неделю и не дается гостям.

Мы уже входили в зал. От камина, из-за большого стола с цветами, где сидели какие-то старомодные мужчины и старухи в бриллиантовых диадемах, легко выскочил и быстро пошел мне навстречу мой белокурый англичанин. На этот раз он был в безукоризненном фраке.

Он улыбался и протягивал руки.

— Ну вот это же он и есть! — сказал я, обернувшись к Альберту.

Лицо метрдотеля изобразило священный ужас.

— Вы не знаете, кто это? — сдавленным шепотом произнес он.

— Нет, — откровенно сознался я.

— Несчастный! Да ведь это же принц Уэлльский…

Живые свидетели

Русских в одном только Париже было тысяч восемьдесят. Все они жили, группируясь преимущественно по профессиям. Но общего русского центра в городе не было. Все попытки организовать какой-нибудь клуб провалились в самом начале. Причиной этому было, конечно, разнообразие политических убеждений. Все кружки ненавидели друг друга, пользуясь каждым удобным случаем для сведения личных счетов.

Единственным местом, куда сходились русские эмигранты, вне зависимости от своих политических убеждений, была русская церковь на Рю Дарю. Обычно по воскресеньям, во время утреннего богослужения, тут и происходили все встречи, главным образом деловые. Отыскав нужного человека, вы отправлялись с ним в какой-нибудь из маленьких ресторанчиков, которых было множество вокруг церкви, и там, за завтраком, спокойно вершили свои дела. В обычные же дни происходили только панихиды, молебны, свадьбы, крестины.

На Монпарнасе, в кабачке «Золотая рыбка» работала цыганская семья Димитриевичей, с которой мы с Иваном Мозжухиным очень дружили.

Много цыганских звезд всходило и заходило на российских горизонтах. В свое время из-за цыганок немало гвардейских офицеров оставляли полки. Кровь русской аристократии была довольно заметно перемешана с цыганской кровью, все эти Долгорукие, Трубецкие и Голицыны были женаты на цыганках. Целые состояния сжигались в кутежах, целые состояния бросали к ногам Настей, Маш, Стеш…

Табор Димитриевичей попал во Францию из Испании. Приехали они в огромном фургоне, оборудованном по последнему слову техники, с автомобильной тягой, который они получили от директора какого-то бродячего цирка в счет уплаты долга. Цирк прогорел, и директор чуть ли не целый год не платил им жалованья. В окончательный расчет они получили фургон.

Их было человек тридцать. Глава семьи — отец, человек лет шестидесяти — старый лудильщик самоваров, был, так сказать, монархом. Все деньги, зарабатываемые семьей, забирал он. Семья состояла из четырех его сыновей с женами и детьми и четырех молодых дочек. Попали они вначале в «Эрмитаж», где я работал. Сразу почувствовав во мне «цыганофила», Димитриевичи очень подружились со мной. Из «Эрмитажа» они попали на Монпарнас, где и утвердились окончательно в кабачке «Золотая рыбка», поддержанные французской прессой и молодой публикой

Латинского квартала.

Иван Мозжухин любил цыган не меньше меня и очень скоро также сделался другом этой семьи. Однажды ночью, после работы, цыгане попросили Ивана быть крестным отцом у одного из братьев. Иван согласился. Был приглашен и я.

На другой день, часов в пять вечера, мы приехали в церковь на Рю Дарю. Была зима. Церковь стояла нетопленой и пустой. Десяток восковых свечей освещал темные лики угодников. Дьячок хрипло кашлял в алтаре, прочищая голос. Цыгане пошли торговаться со священником, а мы с Иваном переминались с ноги на ногу, озябшие, плохо выспавшиеся.

Иван злился. Он не любил «семейных» праздников. Отказаться ему было неловко, но настроение у него было сильно испорчено. К тому же, пока мы разыскали магазин, где можно было купить крестильную рубашечку младенцу и крест, окончательно замерзли.

Около нас крутился мальчишка-подросток лет четырнадцати.

— А где же ребенок? Кого крестить? — мрачно спросил Иван.

Подросток взглянул исподлобья и нехотя процедил:

— Я — ребенок! Меня и крестить!

Иван сразу развеселился.

— Водку пьешь? — неожиданно спросил он.

— Пью!..

Мы взяли «ребенка» за руку и пошли напротив, в ресторанчик «Петроград». Там нам налили три большие рюмки и дали пирожков. Подкрепившись, мы вернулись в церковь. Все было готово к обряду. Посреди церкви стояла купель, окруженная горящими свечами.

— Раздевайся! — приказал отец.

«Ребенок» нахмурился.

— Не полезу я в нее! — твердо заявил он. — Холодно!

Никакие доводы, увещевания и подзатыльники не помогли. Пришлось ограничиться окроплением головы и помазанием.

— А как же рубашечка? — ехидно спросил я Ивана.

— Останется для моих будущих детей! — серьезно ответил он и спрятал ее в карман.

Крестник, получив крест, долго его рассматривал, будто не веря, что он золотой. Для большей достоверности он даже попробовал его на зуб.

После крестин мы сели в машины и поехали домой к цыганам. Они жили за городом, снимая старый особняк где-то в лесу. На втором этаже в большой столовой был накрыт огромный стол в виде буквы «П». Стол ломился от яств и напитков. Я посчитал. Одних кур было сорок штук, индеек — тридцать, гусей

— пятьдесят. Приглашенных было множество. Цыгане по широте души позвали всех знакомых. Тут были и гости, и музыканты, и художники, и журналисты.

Старый папаша, как патриарх, с седой бородой, сидел посреди стола в старом, еще довоенном русском армяке, увешенный какими-то экзотическими медалями, скупленными «по случаю».

Приблизительно в то же время в Париже произошло событие, сильно взволновавшее всю русскую колонию, особенно украинцев. Тремя выстрелами из револьвера был убит на улице небезызвестный в свое время украинский атаман Симон Петлюра. Бежавший от народной расправы, он поселился в Париже, где и доживал свои дни, меняя золотые «карбованцы», награбленные во время своего лихого атаманства.

За неимением «вождей» немногочисленная украинская колония поддерживала его. Изредка в газетах мелькали небольшие заметки о том, что «атаман Петлюра прочтет доклад о несчастном украинском народе, страдающем от ига большевиков» и так процветавшем под его владычеством.

На эти доклады собиралась кучка «щирых самостийников» — человек тридцать, в вышитых крестиком сорочках, с усами а ля Тарас Бульба. Прослушав «батькин доклад», они усаживались тут же пить горилку, которую им заменял «в изгнании» французский кальвадос.

«Батько» садился с ними вместе и напивался до бесчувствия, закусывая «басурманскую» горилку соленым огурцом и сладкими воспоминаниями.

Выстрелы прозвучали неожиданно. Чувствуя себя в полной безопасности во Франции, «батько» свободно гулял по Парижу.

Убил его маленький тщедушный портной или часовщик не то из Винницы, не то из Бердичева — некий Шварцбард. Встретил на улице, узнал и убил. Судили его с присяжными. Надежд на оправдание, конечно, не было никаких, потому что французский суд оправдывает только за убийство «по любви» или «из ревности». Однако на суде появилось много добровольных свидетелей этого маленького человека, которые развернули перед судьями такую картину зверств атамана на Украине, что французские судьи заколебались. Кто только не прошел перед глазами судей! Тут были люди, у которых Петлюра расстрелял отцов, матерей, изнасиловал дочерей, бросал в огонь младенцев…

Последней свидетельницей была женщина.

— Вы спрашиваете меня, что сделал мне этот человек? — заливаясь слезами, сказала она. — Вот!.. — Она разорвала на себе

блузку, и французские судьи увидели — обе ее груди были отрезаны.

Шварцбард был оправдан.

Мои цыгане тоже были свидетелями. Они кричали на суде и били себя в грудь, рассказывая о замученных двух братьях, об отнятых конях, о сожженных родственниках. Их гнев был страшен. Девчонки рыдали, вспоминая то, что они видели еще детьми. Братья показывали красные рубцы — следы пыток. Их еле увели из зала суда.

Год крахов

1933 год, последний год моего пребывания во Франции, был годом больших крахов. Кабинеты министров летели один за другим. Ряд видных лиц, начиная от общественных деятелей и финансистов и кончая министрами, попал в скандальные истории. Беспримерные по изощренности и садизму убийства совершались чуть ли не ежедневно.

Русский миллионер Леон Манташев, бывший «нефтяной король», договорился с английским «королем нефти» сэром Генри Детердингом, что его «компенсируют» как бывшего владельца нефтяных участков на Кавказе за нефть, купленную Детердингом у Советского правительства. Только пять процентов, выданных ему авансом, составляли несколько десятков миллионов. Манташев жил широко, славился своими кутежами на весь Париж. Кроме Манташева, были «короли» помельче, которые тоже получали от Детердинга субсидию за «свою нефть» на Кавказе.

Как-то в доме у Браиловских я познакомился с французским сенатором Клоцом — очень светским, чопорным стариком. В течение всего обеда я беседовал с ним о Советской России, доказывая ему преимущества и силу новой, советской морали перед старой, догнивающей моралью Запада.

Старичок иронически улыбался и отвечал мне так, как отвечают детям, задающим наивные вопросы, очень занятые люди. Через несколько месяцев очаровательный старичок сел в тюрьму за подделку векселей.

Вокруг всесильных «львиц» группировались финансисты, политики, темные дельцы, авантюристы. Знаменитая Марта Анно — директрисса банка мелких вкладчиков — ограбила их, объявив себя банкротом. Сев в тюрьму, она оттуда грозила правительству Шотана разоблачениями и вскоре была выпущена под нажимом влиятельных лиц, у которых было рыльце в пуху.

Коммунистические газеты и листовки клеймили продажных министров и депутатов, доказывая, что они держат половину своих капиталов в Германии. Огромные толпы собирались у заборов, читая эти газеты и листовки. Народ кипел от негодования. В густой массе «беженцев», изгнанных Гитлером из Германии, незаметно была «импортирована» знаменитая «пятая колонна». И работала она вовсю. То в палате депутатов, то в сенате ежедневно вспыхивали скандалы.

Как-то в «Казанове» мне пришлось познакомиться с элегантным седеющим джентльменом, приехавшим со своей дамой. Дама была знаменитой опереточной актрисой Ритой

Георг, с которой я был знаком по Вене.

Джентльмен оказался весьма известным дельцом Александром Стависким. Говорили о его сказочном состоянии, о его крупной игре в Монте-Карло, о том, что он «работает» с самыми «большими» людьми в правительстве. Среднего роста, немолодой, он имел те подчеркнутые манеры, которыми отличаются очень опытные светские шулера и авантюристы. Его красавица жена совсем недавно взяла первый приз за самый красивый экипаж на карнавале в Ницце. Рита Георг познакомила меня с ним. Он немного говорил по-русски, потому что, очевидно, был выходцем из Польши. Наша беседа касалась исключительно театра. Ставиский «субсидировал» гастроли Риты Георг в парижской опереттe. Он выказал себя большим знатоком театрального искусства и говорил, что как только освободится от «дел», обязательно выстроит в Париже театр для иностранных артистов. Через месяц нарыв лопнул. Раскрылась величайшая афера с ломбардами. Войдя в контакт с дирекцией нескольких из них, он закладывал простые стекла под видом изумрудов и бриллиантов. За эти стекляшки ему выдавали миллионные ссуды.

В этом деле был замешан ряд таких высокопоставленных лиц, что доводить это дело до суда было невозможно. Ставиский бежал. Агенты Сюрте-женераль поймали его где-то на границе и предложили покончить с собой. Его нашли мертвым в тюремной камере.

Визит баронов

В конце 1932 года я приехал в Берлин, чтобы напеть граммофонные пластинки. У меня был контракт с концерном «Карл Линдштрем» для «Одеона» и «Парлофона».

Это была пора, когда Гитлер рвался к власти. Весь город быд покрыт огромными полотнищами флагов со свастикой. По улицам непрерывным потоком маршировали процессии молодых людей в новенькой коричневой форме с повязками на руке. Они лихо козыряли друг другу и, подымая руку, салютовали: «Хайль Гитлер!». Обыватели испуганно смотрели на их револьверы и опасливо покачивали головой.

— Оружие-то зачем же давать такой молодежи? — недоуменно говорили они полушепотом.

Но рассуждать уже было поздно. Молодые люди ходили по улицам, наклеивая на еврейские магазины плакаты с призывами не покупать ничего у «юде». Они заходили в рестораны и кафе, выбрасывая на улицу мирно сидящих там людей.

Многие бросились бежать из Берлина. Билеты на заграничные поезда были моментально раскуплены. Магазины спешно ликвидировались и закрывались.

Я приехал с намерением дать несколько обычных своих осенних концертов, но это уже не имело никакого смысла. Приехав на граммофонную фабрику, я застал в кабинете дирекции нациста с револьвером. Все двенадцать директоров этого огромного концерна уже бежали. Нацист, покачивая ногой в новом лаковом сапоге, презрительно щурясь, заявил мне, что никаких «иностранных» артистов им не надо, что у них есть достаточно своих, и подозрительно спросил — не еврей ли я случайно? Получив заверение в моем русском происхождении, он успокоился и немного сбавил тон.

— Вы можете подать в суд, если у вас есть контракт с ними, — посоветовал он. — Мы заставим этих «юде» заплатить вам все, что следует!

Приблизительно дня через три после этого ко мне в пансион-отель, где я остановился, пришла несколько странная делегация. Состояла она из трех-четырех дам и такого же числа мужчин.

Меня ждали в холле. Названные пришедшими фамилии были явно балтийско-немецкого происхождения: три барона, остальные — графини и баронессы.

Предложив им сесть, я осведомился о цели визита.

Дамы начали с комплиментов моему искусству и

популярности. Это была, так сказать, «артиллерийская подготовка». Затем началась атака. Один из баронов, протерев очки и тщательно рассматривая свои холеные руки в родовых дворянских кольцах с гербами, осторожно подыскивая слова, заговорил.

Дело в том, что по примеру национал-социалистической партии они решили объединить здесь, в Германии, всех «национально мыслящих» русских людей во что-то вроде союза или «русского отдела» этой партии. Правительство сочувственно отнеслось к этой идее и уже отвело целый дом, обещав в дальнейшем субсидию.

— Дом шестиэтажный, с чудными квартирками! — не выдержав, вставила одна из баронесс.

— Уже утвержден даже проект формы! — добавила другая.

— Мы будем иметь казачьи фуражки, но только коричневого цвета, и такие же, как у всех «наци», рубашки. И повязку со знаком свастики на левой руке.

Я ничего не понимал.

— Но, простите, чем я могу быть вам полезен? — спросил я.

— Немного терпения. Сейчас вам все станет ясно.

Высокий худой барон закурил сигарету и, чуть-чуть улыбаясь, медленно и терпеливо стал объяснять мне:

— У нас, понимаете ли, есть некоторые препятствия, то есть, вернее, затруднения в этом направлении… Нам нужно имя… Я хочу сказать, нам нужен человек с именем, который был бы известен всей нашей русской публике и в то же время репутация которого была бы, так сказать, незапятнанна! Ну, «нейтральный», что ли…

Я начинал понимать.

— И что же, у вас в Берлине не нашлось ни одного человека с «незапятнаной» репутацией? — не выдержав, спросил я.

Барон неопределенно развел руками.

— Очень трудно найти подходящее лицо, — уклончиво ответил он. — Различие взглядов… Политическое прошлое… Возникают возражения.

— Ваше имя нас устраивает. Вы, так сказать, достаточно лояльны и из другого мира, — поддержал другой барон.

— Чего же вы от меня хотите конкретного? — спросил я.

Бароны переглянулись.

— Мы предлагаем вам возглавить наш союз! — твердо сказал один из них.

Тут наперебой заговорили дамы:

— У вас будет чудная квартирка. Мы отведем вам бельэтаж.

— Весь этот дом наш.

— Работы особенно никакой не будет.

— Просто подписывать несколько бумаг в день, и все…

— Ну, и официальное представительство, так сказать! — добавил один из баронов.

Я уже все понял. Они искали дурака. Вот эту честь они и решили предложить мне. Едва сдерживаясь, чтобы не рассмеяться, я поблагодарил их и встал.

Бароны тоже поднялись.

— Я советую вам подумать над этим. Это будет для вас и полезно и приятно в одно и то же время, — сказал один из них.

Нотка угрозы едва уловимо прозвучала в этих словах.

— И это нисколько не помешает вашей артистической деятельности, — добавил другой.

— Разрешите мне дать вам ответ в пятницу, — попросил я.

Бароны молча поклонились. После их ухода я упал в кресло и стал хохотать, обдумывая, какой анекдот я сделаю из этого разговора и как я буду его рассказывать моим приятелям в Париже.

Потом взял телефонную книгу, позвонил в бюро и заказал себе билет на парижский экспресс.

В ту же ночь я покинул Берлин.

Там, за океаном

Была осень 1934 года. На пароходе «Лафайет» я отправился в Америку. Тогда еще не была готова знаменитая «Нормандия», и он считался одним из лучших после «Иль-де-Франс». Со мной ехало несколько французских артистов, приглашенных в Голливуд, множество туристов, возвращавшихся домой, да еще трое чикагских гангстеров со своими подругами. Подруги меняли туалеты по десять раз в день и появлялись к обеду в умопомрачительных вечерних платьях моделей лучших парижских домов, с бутоньерками из живых орхидей каждый раз в цвет платья.

Огромные залы гигантского парохода были заполнены праздной и шумной толпой людей, которые положительно не знали, что им с собой делать, и думали только о том, как повеселее убить время.

Бесконечное количество прислуги, мужской и женской, целые дни бегало взад и вперед по отелю-пароходу, удовлетворяя малейшие желания и прихоти каждого пассажира.

На третий или четвертый день путешествия начался шторм. Огромное туловище парохода медленно и плавно то всползало на вершину водяной горы, то опускалось в бездну. Казалось, что летишь на каких-то гигантских качелях, очень широко и ровно раскачиваемых.

Пассажиры сразу исчезли. Огромный пароход опустел. Все лежали в своих кабинах, и к обеду и ужину выходило не больше десятка человек, мужественно облаченных в вечерние туалеты и смокинги, как полагалось по этикету. В большинстве это были англичане, которые даже в колониях, в тропиках, к обеду надевают смокинг, несмотря ни на какую температуру и обстоятельства.

…После обеда я сидел в салоне и перечитывал парижские журналы. Кроме меня в пустом зале никого не было. Большой радиоприемник стоял на электрическом камине, где тлели искусственные угли. Я повернул кнопку и включил аппарат. Поискав Францию, нашел Париж.

Политические новости… Люсьен Буайе в новой песенке… Еще что-то. И вдруг:

К мысу ль Радости,
к Скалам Печали ли,
К Островам ли
Сиреневых птиц,

Все равно, где бы мы
ни причалили,
Не поднять нам усталых ресниц…

Это пел я.

Ревела, палила и щелкала буря. Огромный пароход трещал и вздрагивал от ударов волн, упрямо пробираясь вперед, а я сидел и слушал самого себя, где-то за тысячи верст затерянный ночью в океане.

Мимо стеклышка иллюминатора
Проплывут золотые сады,
Пальмы тропиков, солнце экватора,
Голубые полярные льды…
Все равно… где бы мы
ни причалили,
Не поднять нам усталых ресниц…

Эти слова Тэффи, из которых я в свое время сделал песню, впервые так остро пронизали меня. Я мысленно оглянулся. Столько лет без дома, без Родины! И впереди ничего, кроме скитаний.

Вот тут и родилась у меня песня «О нас и о Родине», которая наделала столько шума за границей и за которую даже в Шанхае мне упорно свистели какие-то личности, пытаясь сорвать концерт.

Развлекали нас на пароходе всеми силами. То устраивался вечер бокса, на котором молодые матросы разбивали друг другу носы до крови, то танцульки, где подруги гангстеров могли блистать своими сверхтуалетами и драгоценностями, от которых слепило глаза. Их повелители в новеньких, только что сшитых в Лондоне фраках, с квадратными плечами, неуклюже переминались с ноги на ногу в модных танцах, сильно напоминая собой дрессированных орангутангов. В антрактах между танцами они пили шампанское, курили огромные сигары и рассеянно барабанили толстыми пальцами по столу, обдумывая, вероятно, новые комбинации.

По понедельникам были сеансы кино. Один раз в пути устраивался традиционный концерт в пользу семейств моряков, погибших в море, на котором выступали все артисты, находившиеся на пароходе. В эту поездку играла очень хорошая виолончелистка, пела знаменитая Лили Понс, направлявшаяся в

Голливуд, играл возвращавшийся домой скрипач Яша Хейфец и еще кое-кто.

Пришлось выступать и мне. Я спел несколько веселых русских песен с припевами, заставляя публику подпевать мне. Это очень понравилось пассажирам, хотя ни одного слова, разумеется, они не поняли.

Задолго до прихода к пристани с чиновниками, проверяющими паспорта, прибыл катер с журналистами и фотографами. Эти жующие, орущие и бегущие куда-то люди обращались с нами довольно небрежно.

— Эй, вы!.. Садитесь! Да не сюда!.. В это кресло! Вы Лили Понс? Нет? А что вы делаете? Играете? На чем? Ну все равно! Возьмите ваш журнал в руки! Так! Смотрите на меня! Выше голову!

Фотограф хватает вас за лицо и поворачивает в сторону.

— Снимаю!

Щелк аппарата…

— Вы кто? Вертинский? Рашен крунер? Как наш Бинг Кросби?.. Да? Мы знаем уже о вас! Станьте здесь! Обопритесь о перила! Так! Улыбайтесь! Да снимите вы эту шляпу, черт возьми! Так! Ваше первое впечатление об Америке?..

Я сразу разозлился.

— Первое впечатление, что здесь слишком развязные журналисты! — ответил я.

Встречавшего меня менаджера я спросил:

— Послушайте, неужели они у вас все такие?

— Все! — вздохнув, ответил он. — Это стиль такой. Они показывают, что их никем и ничем не удивишь!

— Ну, тогда снимайтесь сами, а я не желаю, чтобы меня дергали, как манекен, — заявил я и удрал в каюту.

Остановиться мне было предложено в отеле «Ансония». Это был «артистический» отель. Там останавливался Шаляпин, жили пианист Зилоти, Никита Балиев со своей «Летучей мышью», Рахманинов, скрипач Иегуди Менухин, Тосканини… Менаджером там служил бывший московский миллионер булочник Борис Филиппов, с которым мы были в Москве приятелями. Особой чистотой и роскошью отель не отличался, но находился в удобном районе, и главное, там жило много русских.

В тот же вечер, не дав опомниться, мои менаджеры решили показать мне Нью-Йорк.

— У вас будет сразу полное впечатление от ночного города, — сказали они.

По-видимому, эти люди рассчитывали сразу же подавить

меня величием города. Покатав по широким улицам и показав знаменитое 5-е авеню, они отвезли меня в кино, только что открытое в нововыстроенном билдинге в сто два этажа.

Зал был рассчитан на пять или семь тысяч человек. Шло «Воскресение» Толстого с Анной Стэн в роли Катюши Масловой. Картину ставили тщательно. Ассистентами режиссера были приглашены такие авторитеты, как художник Судейкин и Илья Толстой, сын Льва Николаевича. Анна Стэн — русская по происхождению, которой очень «занимались» в Голливуде, готовя из нее «звезду» первой величины — чудесно играла Катюшу. Картина стоила миллионы, реклама — тоже миллионы. Перед началом картины из-под земли поднялся оркестр в сто двадцать человек, составленный из лучших музыкантов города. Многие из них были лауреатами консерваторий.

И что же они играли? «Очи черные»… Это у них считалось «русской музыкой»! Переделанная на все лады, искусно аранжированная, банальная и незатейливая мелодия, не переставая, звучала все время по ходу картины.

Как это типично для американцев!

Голливуд потрафляет вкусам среднего обывателя, а кто же из этих обывателей не знает «Очи черные» и не считает их «шедевром» русской музыки!..

Меня это возмутило. Неужели же они ничего не могли выбрать из Мусоргского, Римского-Корсакова, Глинки, Чайковского? Из народных песен, наконец!

Театров в Америке почти нет. Во всяком случае такой роли, какую театры играли в прежней России, какую играют сейчас в СССР, они не имеют. Есть одна опера — в Нью-Йорке и одна — в Чикаго. Драматических театров очень мало, и «сезонами» они не существуют. Зато в большой моде «ревю» и всякого рода массовые постановки с сотнями «герлс», с дорогими костюмами фигурантов и фигуранток, с разными оркестрами, летающим балетом и прочими чудесами. Такие постановки обычно бьют только на роскошь, размах и стоят огромных денег. Рекламируют их приблизительно так: «Великий вальс!» Ревю. Постановка обошлась дирекции в 2 500 000 долларов! Спешите все! Такой роскоши вы никогда больше не увидите!»

Кто автор этой пьесы? Кто режиссер? Какие актеры играют в ней? Об этом не говорится. Все это вы узнаете потом, когда купите билет и посмотрите пьесу. Рекламируется только он, «царь доллар». Только цена.

— Дорогая! — говорит внимательный и любящий муж своей жене. — Я купил сегодня билеты на два спектакля! В воскресенье

мы пойдем на постановку, которая стоит миллион долларов, а во вторник — на два миллиона! По порядку, так сказать. Сначала дешевле, потом дороже. Чтоб не перепутать.

Меня бросало в дрожь от американских театральных вкусов. Конечно, в Америке любят и ценят больших, настоящих артистов. Там выступали и Рахманинов, и Крейслер, и Шаляпин, и Тосканини. Есть прекрасные оркестры, широко известны имена Кусевицкого и Леопольда Стоковского, Хейфеца, Лоренса Тибет, Иегуди Менухина, Владимира Горвица и других. Но все это для «хай-класса». Обыкновенный же, рядовой обыватель, воспитанный на кино, серьезного искусства не любит и им не интересуется. Его вкус, так называемый «вкус Бродвея», — весьма ограничен.

Я помню, один из наших соотечественников выступал в лучшем театре Бродвея со своей труппой, получая чуть ли не сто тысяч долларов в неделю. Его имя светилось над театром огромными буквами и делало большие сборы.

Как-то, познакомившись со мной, он пригласил меня в свой театр с просьбой после представления обязательно зайти к нему за кулисы — сказать свое мнение о спектакле. В ложе было пять мест. Я пригласил Балиева, Судейкина и знаменитого режиссера Гордона Крэга, который когда-то у нас в России ставил «Гамлета» в Художественном театре. Мы едва досидели до конца. Это было что-то невыразимое. Такой халтуры я никогда не видел. Я был настолько убит зрелищем, что не пошел за кулисы после спектакля, рискуя остаться в глазах Аполлона невежливым и невоспитанным человеком.

Публика, однако, была в восторге и аплодировала без конца.

Концерт в «Таун-холл»

Для моего первого концерта в Нью-Йорке был снят «Таун-холл» — один из двух больших и самых популярных концертных залов города. Больше его только «Карнеги-холл», который рассчитан на четыре тысячи человек. Я не захотел петь в таком огромном помещении, боясь, что от этого концерт потеряет свою интимность и выйдет слишком уж помпезным.

В день концерта я, естественно, волновался больше, чем обычно.

«Кому нужны в этом огромном, чужом, деловом, вечно спешащем городе мои песни? Такие русские, такие личные и такие печальные! Что им до меня?» — думал я.

Вечером в кассе был аншлаг. На концерте был буквально весь цвет артистического мира — от милого Федора Ивановича, который ободряюще подмигнул мне из крайней ложи, до ничего не понимающего по-русски Бинга Кросби, которому сказали, что я «рашен крунер» и что ему нужно меня послушать. Тут были и знаменитые музыканты, и художники, и режиссеры, и актрисы кино, и наши русские артисты, застрявшие в Америке. Был Рахманинов, Зилоти, Балиев, Болеславский, Рубен Мамулян, Марлен Дитрих, с которой, я познакомился еще в Париже. Много балетных артистов — Мясин, Баланчин, Фокин, Немчинова. Кроме того, была также вся русская колония «второго» приезда.

Оставалось только хорошо петь, что я и старался делать по мере моих сил.

Окончательно мы подружились с публикой на «Чужих городах». Я тогда еще не был особенно тверд в этой песне, так как написал ее перед самым отъездом из Европы и не имел случая «попробовать» ее на публике. Очевидно, она задела самую больную струну в их сердцах: реакция на нее была подобна урагану.

За кулисами в антракте меня окружили друзья. Шаляпин звал ужинать и шутил, что «много не пропьем — только то, что сегодня у тебя в кассе!»

Болеславский познакомил меня с Бингом Кросби и переводил мне его слова.

— Россия — великая страна, — взволнованно говорил он. — Мы здесь ничего не умеем! Я вас понял, маэстро. Вот, — он показывал мне либретто моих песен по-английски. — Мы не умеем так петь!

Марлен Дитрих расспрашивала о «Казанове» и парижских друзьях.

Десятки дружеских рук тянулись ко мне. Приветствия, приглашения, улыбки…

Мои менеджеры сияли.

— Мы победили Нью-Йорк! — было написано на их лицах.

Закончил я концерт песней «О нас и о Родине». Когда я спел: «А она цветет и зреет, возрожденная в огне», то думал, что разнесут театр.

Таких аплодисментов я еще никогда не слышал. Никогда в своей жизни. Относились они, конечно, не ко мне, а к моей Родине…

Если от Австрии остается на всю жизнь в памяти музыка вальсов, от Венгрии — чардаши и страстные волнующие напевы скрипок, от Польши — мазурки и краковяки, от Франции — легкие напевы уличных песенок, то от Америки остается только ритм, вечный счет какого-то одного и того же музыкального шума, мелодию которого вы никак не можете запомнить и который вам в то же время надоел до ужаса. Происходит это потому, что джазовая музыка необычайно монотонна, несмотря на все свое разнообразие и богатство аранжировок, и в конце концов от нее у слушателя ничего не остается ни в голове, ни в сердце. Звучать она начинает с утра по радио и преследует вас, где бы вы ни находились, до самой ночи. Под нее взрослые делают свои дела в офисах и магазинах, под нее дети готовят уроки и засыпают.

Самые лучшие джазовые музыканты, конечно, негры. У них врожденное исключительное чувство и абсолютная музыкальность. А поют они просто восхитительно. Особенно в дуэтах, трио и квартетах, где их гармонизация поражает своей оригинальностью.

Если ваша песенка или вообще какая-нибудь вещь понравилась и стала популярной у толпы, вы уже обеспеченный человек. А если вам удалось создать «шлягер», то вы можете разбогатеть на нем. Помимо того что за исполнение вашей вещи вы получаете авторский гонорар по всей Америке, она еще может попасть в музыку какого-нибудь фильма, и тогда Голливуд покупает у вас все права на нее оптом и платит огромные деньги — до 200–300 тысяч долларов сразу. Поэтому мечта каждого композитора — попасть в фильм. За мотив «Титина, ах, Титина», попавший в фильм Чаплина «Огни большого города», автор ее, француз, получил миллион франков.

Но хотя композиторов в Америке много, вы почему-то на всех нотах читаете обычно ряд одних и тех же фамилий авторов. В Нью-Йорке, например, почти все «шлягеры» принадлежат «творчеству» некоего Эрвина Берлина. Не думайте, что он

написал все эти вещи сам. Нет. Но он купил их у неизвестных авторов за гроши, переделал и выпустил под своей фамилией и со своим портретом. Если вещи «пошли» — он заработал, если нет — немного потерял, ровно столько, сколько стоит бумага и печатание. Но зато если из ста купленных вещей «пойдут» только две или даже одна, то и это уже такой огромный доход, который покрывает все и дает большую прибыль. У этого же Эрвина Берлина или Руди Вилле на Бродвее целые офисы, в которых сидят десятки машинисток и других служащих и работают целые дни — контора по покупке и продаже музыки.

Купить и продать можно, а воровать музыку нельзя. Для этого есть музыкальные детективы, которые следят за новыми произведениями, и если дело доходит до суда, уличают автора в плагиате, так сказать, официально. Но эти правила касаются только американской и европейской музыки, зарегистрированной в союзах композиторов. Что же касается музыки русской, например, то воровать ее можно сколько угодно. Очевидно — за дальностью расстояния.

Американские джазовые композиторы сплошь и рядом черпают свое «вдохновение» из цыганских и других романсов и довольно беззастенчиво пекут из них свои «шлягеры». Очень часто, прислушиваясь к какой-нибудь песенке, узнаешь в ней знакомые куски или даже целиком заимствованные мелодии. Возьмем хотя бы модный напев «Иес, май дарлинг дотер». Разве это не наше украинское «Ой не ходи, Грицю, та й на вечерници»? Но это еще пустяки: джаз не стесняется ни с какой музыкой вообще, ни с какими музыкальными величинами. В Америке переделывают на фокстроты все: Шопена и Бетховена, Чайковского и Рахманинова — кого угодно, если только он не записан у них в союзе.

Некоторые наши балетные артисты — Фокин, Баланчин и другие пытались создать в Америке постоянный балет, наподобие того, который был в свое время создан во Франции под названием «Балет де Монте-Карло». Но все попытки проваливались. Идея создания американского национального балета не нашла отклика. Это потому, что в Америке был когда-то «великий Зигфильд», создавший тип американских «бьюти герлс» — одинакового роста и пропорций длинноногих девушек, танцующих или, вернее, ходящих по сцене, разделенной на квадраты, группами по сто человек, одинаково, точно по линейке, поднимающих и опускающих ноги и руки и делающих одно и то же групповое движение, как дрессированные лошадки в цирке. Это и есть национальный американский балет, и другого им не нужно.

Работают эти несчастные герлс, как машины. Обычно выступления их бывают во всех кино между сеансами. Кино начинается в 12 часов дня, а кончается в 12 часов ночи. Все это время девушки находятся в театре, в костюмах и гриме, там же едят и дремлют на кушетках в ожидании своего номера. При театрах есть кантины и артистические уборные. Но в театр девушки должны являться в 8 утра, потому что до 12 дня они репетируют, готовя программу на следующую неделю. Таким образом, рабочий день каждой такой девушки составляет шестнадцать часов. Получает она сто долларов в месяц. Она не видит солнца, не дышит свежим воздухом и, проработав так пять лет, уходит обычно из театра сильно подурневшей и часто больной. Карьера ее кончена. На смену ей идут другие девушки — свежее и моложе. Выйти замуж она тоже не успела, потому что провела пять лет своего расцвета фактически взаперти.

Кино занимает умы многих людей, особенно тех, кто надеется сделать в нем карьеру. Да и вообще в Америке ничем так сильно не интересуются, как кино.

Женщины, хотя бы раз в жизни попробовавшие себя в фильме, пусть даже в самой крошечной роли, уже ни о чем другом говорить не могут и думают только о том, как обратить внимание на себя и свою внешность. Не удивляйтесь, если вы встречаете совершенно незнакомую вам женщину, которая вдруг укоризненно говорит вам, грозя пальцем:

— Ай-ай-ай! Нехорошо не узнавать знакомых!

— Простите, — удивленно бормочете вы. — Я не могу вас припомнить.

— Ах, вот как? Не можете припомнить? А еще ухаживали. Цветы посылали, — издеваясь, продолжает она.

Дама, наконец, называет фамилию женщины, с которой действительно когда-то вы были хорошо знакомы. Но… но ведь это же не она. Вы вглядываетесь в ее лицо и с трудом начинаете отыскивать в нем когда-то знакомые черты. Постепенно начинаете соображать в чем дело. Она сделала себе пластическую операцию для кино, чтобы быть «еще красивее». Она спилила горбинку носа и укоротила его. Подрезала мочки ушей, вырвала ряд совершенно здоровых, но чуть-чуть неправильных зубов и вставила вместо них новые, большие и блестящие, вшила себе в веки длинные и черные ресницы, не говоря уже о том, что подрезала грудь, чтобы округлить ее форму. Вы можете смотреть на эту женщину целый год, и все равно никогда не догадаетесь, что эта молодая особа, напоминающая восковую куклу из парикмахерской витрины, и есть ваша знакомая — какая-нибудь Людочка или Олечка, которую вы знали хорошенькой всего два-

три года назад где-нибудь в Берлине или Париже. Но, увы, это она. Какие только жертвы не приносят на алтарь искусства! И самое обидное — «проклятое искусство» даже не ценит жертв. До операции Олечку приглашали иногда знакомые режиссеры на небольшие рольки и даже обещали выдвинуть, а теперь, как назло, никто не приглашает.

В Голливуде

Из Нью-Йорка я уехал в Сан-Франциско, а оттуда в Голливуд. Кто только не встречал меня здесь на вокзале! Бывший адмирал, бывший журналист, бывший прокурор, бывший миллионер, бывший министр, бывший писатель. Бывшие потому, что генерал держит теперь ресторан, адмирал — фотографию, прокурор — комиссионный магазин, журналист служит поваром, а миллионер отпустил черную бороду, в кавказской черкеске с кинжалами стоит у дверей ресторана и открывает гостям двери.

Зачем приехали в Голливуд эти люди? Чего искали они в нем? Каким ветром занесло их в такую даль, на край света? Какой путь проделали все эти московские, ростовские, новороссийские жители, прежде чем попали туда? Трудно ответить на этот вопрос. Русский человек, потерявший родину, уже не чувствует расстояний. Кроме того, ему нигде не нравится, и все кажется, что где-то лучше живется. Поэтому за годы эмиграции мы стали настоящими бродягами. Раз не у себя дома, так не все ли равно где жить? Мне вспомнились слова Марины Цветаевой:

Мне совершенно все равно —
Где — совершенно одинокой!

Все эти русские, которых я видел в Голливуде, группируются вокруг фильмового мира. Все их интересы вращаются вокруг него. Большинство работает статистами, остальные — в костюмерных, фотографиях и гримировочных.

Вообще русские одно время были в большой моде в Голливуде. Особенно во времена немого фильма, когда в студии попало много русских музыкантов и артистов.

Однажды мой менаджер влетел ко мне очень взволнованный и сообщил, что я удостоился редкой чести — получил приглашение в знаменитый «Голливуд-Морнинг-Бракфест-Клаб». В руках он вертел толстый конверт, который торжественно протягивал мне. Я вскрыл его. На великолепном куске александрийской бумаги были нарисованы примитивные козлики с лошадками и курочки с петушками. Дальше было написано, что правление Г.М.Б.К. просит меня почтить их своим посещением и выступить у них такого-то числа во время утреннего завтрака.

Я равнодушно повертел конверт и осведомился:

— На кой шут мне это приглашение?

Менаджер был возмущен.

— Безумец! — патетически восклицал он. — Он еще спрашивает — зачем… Да знаете ли вы, что в этом клубе — все нью-йоркские и чикагские миллионеры!

— Ну, а дальше что! — не сдавался я. — Миллионов своих они же нам не оставят. На кой они мне леший!

— Как на кой? А реклама? А честь какая? Ни один русский не переступал порога этого клуба, — возмущался менаджер. — Они приглашают только мировых знаменитостей. Понимаете? Вы — форменный самоубийца.

Он потрясал письмом в воздухе и кипятился. Я понял, что сопротивление бесполезно. Надо было ехать. Самое противное было то, что явиться туда нужно было в семь часов утра. Это меня приводило в отчаяние.

«Что за дурацкая идея приглашать артиста в семь утра? — думал я. — Никогда в жизни я еще не пел на рассвете». Но выхода не было.

На другой день за мной заехала машина клуба, и ровно в семь я уже сидел за длинным столом, за которым было человек двести, и беседовал с какими-то упитанными личностями. Напротив меня сидела французская кинозвезда Даниель Даррье, моя парижская приятельница, и делала мне «страшные глаза», вся искрясь смехом. Француженка, да еще парижанка «пюр-сан», не могла переварить американских чудачеств.

Время от времени поднимался какой-нибудь толстяк и рассказывал невероятную ерунду из области своих семейных или любовных переживаний, пересыпая ее грубыми шуточками и словечками бродвейского «арго». Почему эту ерунду надо было говорить именно по утрам?

Потом все положили руки на плечи своих соседей и, раскачиваясь в такт, как шаманы, стали нудно петь свой клубный гимн, восхваляя утреннюю яичницу.

— О хэм энд эггс! — пели они. — Ты очищаешь наши мысли по утрам.

Рядом со мной сидел губернатор Гавайских островов и усиленно приглашал меня приехать к нему в гости на Гонолулу — охотиться на кроликов. Я терпеливо объяснял ему, что в такую даль за кроликами не ездят. А львов у него нету, да я их боюсь, кстати.

Потом оркестр сыграл какую-то индейскую песню. Потом был зачитан небольшой доклад, разъяснявший публике мой жанр и творчество, после чего мне пришлось выступать.

Не будем говорить о том, как я пел. Меня слегка поташнивало от этих качаний, разговоров, от вида яичницы, которой я теперь не могу, от папирос натощак и всего этого

добродушного кретинизма. Аплодировали тем не менее щедро. В вечерних газетах были приведены фамилии всех финансовых тузов, бывших на этом завтраке, и среди этих тузов робко серела моя скромная фамилия.

Вторым событием, произведшим на меня неизгладимое впечатление, были голливудские похороны.

Как-то на одном из «парти´», устроенном моими друзьями по случаю моего приезда, мне пришлось познакомиться с молодой, красивой американкой *М.* Жена одного из «магнатов» кинопромышленности, богатая избалованная и по-американски «независимая», она положительно не знала, что с собой делать. Актрисой она не была — муж не позволял ей сниматься, и ее время не было заполнено ничем, кроме портных, парикмахеров и покупок в магазинах. Обычно она устраивала у себя «парти», или ее приглашали на них почти ежедневно. Как большинство таких «свободных» американок, она пила с утра до вечера джин и носилась по Голливуду на своей машине, которой правила сама. Ездила она очень смело, чтобы не сказать больше.

Однажды сев с ней в машину, я дал себе слово никогда больше этого не делать. Она мчалась, как гонщик на состязаниях.

— Вы когда-нибудь убьетесь, дорогая! — сказал я ей.

М. только рассмеялась.

— Это будет самым лучшим выходом из моего положения.

Она была «разочарована». Пустая, бессмысленная и бесцельная жизнь богатой и ничем не занятой женщины, по-видимому, тяготила ее. Иногда я рассказывал ей о Советской России, о том, как трудятся там женщины. Она слушала, полуоткрыв рот, и, мечтательно вздыхая, наивно спрашивала, не мог бы я взять ее с собой в Россию.

Однажды ночью, после одного из таких «парти´», она, находясь под сильным влиянием алкоголя, села в машину и разбилась.

На другой день ее хоронили. Я послал ожерелье из гардений и поехал в «Фенераль бюро», где были назначены похороны.

В большом, похожем на католический собор сводчатом зале собрался весь Голливуд. Артисты, писатели, художники, директора — все, кто был так или иначе связан с деятельностью ее мужа, — пришли отдать *М.* последний долг. Люди разместились на дубовых скамьях и тихо разговаривали, обсуждая происшедшее. Перед нами было что-то вроде сцены иди эстрады, задернутой толстой бархатной занавесью. Минут через десять раздался удар гонга. Занавес раздвинулся, и перед моими глазами предстала… живая покойница!

Она сидела, заложив ногу на ногу, на табурете за стойкой бара и держала в руке бокал. Сзади стоял живой бармен и наливал что-то в коктейльницу. Она была причесана, нарумянена, напудрена, в длинном вечернем платье, с широко открытыми глазами и улыбалась страшной неживой улыбкой. На шее ее было мое ожерелье. Я окаменел от ужаса.

Потом, много позже, мои друзья объяснили мне, что в Америке, когда похоронное бюро берется за похороны, оно спрашивает родственников:

— В каком виде вы хотели бы видеть покойницу в последний раз?

Если женщина была хозяйкой, ее показывают в домашней обстановке, если она была хорошей матерью и любила детей — в детской и т. д. В данном случае киномагнат, привыкший видеть свою жену всегда за стойкой бара, хотел, чтобы именно в таком виде предстала она перед ним в последний раз.

Была мертвая тишина. Я слышал, как стучит мое сердце. И… И вдруг с хор полились звуки музыки. Оркестр, приглашенный из ее любимого ресторана, играл любимые вещи покойницы. Сперва «Очи черные», потом «Две гитары» и, наконец, фокстроты.

Я был близок к сумасшествию. Через несколько минут появились лакеи, которые разносили гостям на подносах ее любимый коктейль и сандвичи.

— Танцуйте, танцуйте! — истерически выкрикивал ее муж. — Она так любила танцы!

Это было уже чересчур.

Мои нервы больше не могли выдержать. Я выскочил из зала и побежал прочь.

Был конец октября. Я решил уехать в Китай.

Огромный японский пароход «Чичибу Мару» увозил меня из Сан-Франциско. Публика состояла исключительно из японцев, возвращавшихся на родину: кроме меня, европейцев не было. У меня было достаточно времени, чтобы обдумать многое. Я был рад одиночеству.

На Гавайях, в Гонолулу я любовался бирюзовой прозрачной чистотой океана, смотрел, как ныряют в воду смуглые, великолепно сложенные туземцы, когда им бросают монету. Смотрел на красивых гавайских девушек, увешанных ожерельями из роз, гвоздик и магнолий, слушал прелестную, тоскующую музыку гавайских гитар, смотрел их чувственные и в то же время стыдливые танцы, рассматривал диковинных рыб в морском музее.

Через день мы уже плыли дальше, в таинственный,

оранжевый известный мне только по сказке Андерсена, далекий Китай.

…Многих простила наша великая Мать — Родина. В том числе и меня. В Шанхае, после многочисленных просьб, мне, наконец, дали советское гражданство.

То были дни войны, когда новые великие испытания переживала наша Родина.

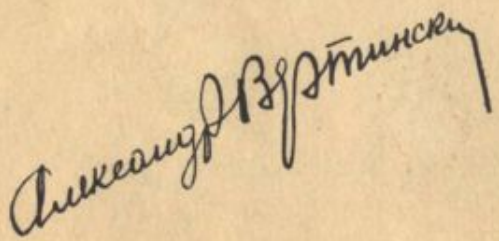
Тысячи рук ее детей тянулись к ней из разных углов нашего рассеяния, умоляя простить их и пустить домой, чтобы помочь ей, чтобы отдать свою жизнь за нее!

Я верил, что из огня войны наша Родина выйдет еще более могучей, что она станет еще более цветущей и прекрасной, будет для нас еще дороже, еще любимей…

ПОПУЛЯРНЫЯ ПѢСЕНКИ ВЪ ИСПОЛНЕНІИ
ВЕРТИНСКАГО
Пѣсенки А. Н. ВЕРТИНСКАГО.
АРЛЕТКИ ПЬЕРО
Минуточка.
Модныя пѣсенки
А. ВЕРТИНСКАГО
В голубой далекой
Л. БЕРЛИЗОВ

40 к.

Говорят, душа художника должна пройти по всем мукам. Моя душа прошла по многим из них... Это была расплата. Расплата за то, что когда-то я посмел забыть о родине. За то, что в тяжелые для родины дни, в годы борьбы и испытаний я ушел от нее. Оторвался от ее берегов.



«МУЗЫЧНА УКРАЙИНА»